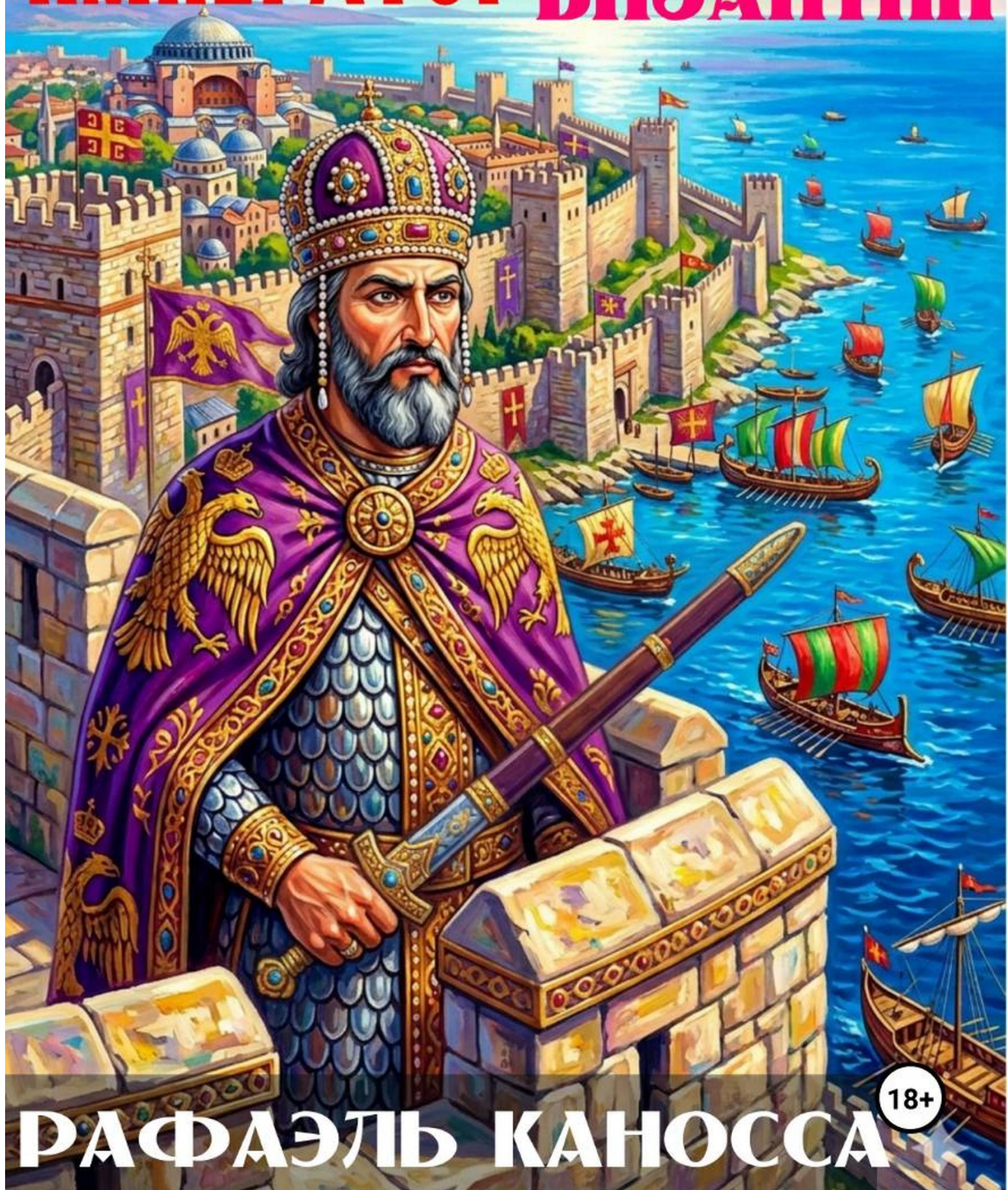


МИХАИЛ ПАЛЕОЛОГ, ИМПЕРАТОР ВИЗАНТИИ



РАФАЭЛЬ КАНОССА

18+

Рафаэль Каносса

**Михаил Палеолог,
император Византии**

«Автор»

2026

Каносса Р.

Михаил Палеолог, император Византии / Р. Каносса — «Автор», 2026

Он явился из огненного разлома, когда Византия, издыхающая в муках, уже примеряла на себя саван. Михаил Палеолог — грозный секироносец и спаситель умирающей империи. В тот страшный час, когда латинские стервятники терзали тело Византии, он поднял над миром рвущийся в небо багряный стяг. Он вернул Константинополь — этот мистический алтарь православия. Это был повелитель, который не знал жалости, ибо жалость для государства — разящий меч в спину. Он рубился в рукопашной схватке, ломая хребты супостатам, и пал, как воин, зажав в остывающей ладони эфес клинка. И когда спустя столетия Россия, набирающая мощь в снежных полях, потянулась к утраченному венцу, в её тереме объявилась та самая кровь — Зоя-София Палеолог. Она вошла в кремлёвские хоромы как живая икона павшего царства. Она стала супругой русского царя Ивана III и бабушкой Ивана Грозного, в котором тоже проявилась властная и великая кровь византийских Палеологов.

Содержание

Глава 1. Дворец на берегу Мраморного моря	5
Глава 2. Вместо смерти – императорский порфир	13
Глава 3. Поход, где наградой является сама жизнь	20
Глава 4. Деспот и его тень	26
Глава 5. Пир во время чумы	30
Глава 6. Клятва, которой не было	33
Глава 7. Ночь в Арте	35
Глава 8. Кровь во дворе	38
Глава 9. Победа ценою в жизнь	40
Глава 10. Возвращение. Мёд и полынь.	42
Глава 11. Шёпот в темноте	44
Конец ознакомительного фрагмента.	52

Рафаэль Каносса

Михаил Палеолог, император Византии

Глава 1. Дворец на берегу Мраморного моря

Повелитель Римской империи, василевс и автократор ромеев Михаил Палеолог стоял на огромном балконе своего роскошного дворца, выходившего прямо на Мраморное море, и наблюдал за прихотливой игрой солнечного света на морской воде, а также за кораблями, входящими в императорскую гавань Вуколеон.

Легкий теплый ветер, дувший со стороны моря, ерошил коротко подстриженные седые волосы на голове василевса и временами заставлял его опасливо шуриться – Михаил Палеолог боялся, что какая-то плохо различимая пылинка попадет ему в глаз, и тот начнет ощущать резь и слезиться.

Какая глупость... Теперь он опасался даже пылинок, кружащихся в воздухе. А когда-то он мог запросто сигануть с причала прямо в море, проплыть пару десятков «оргий», или саженой под водой, и потом вынырнуть, победно держа в руке ярко-красную морскую звезду или нежно-розовую перламутровую ракушку. Да и волосы его тогда были черными, как вороново крыло – и такими же толстыми и упругими. И когда он ерошил их своей рукой, или разглаживал перед зеркалом, то не верил, что его волосы могут когда-то поседеть, истончиться и начать исчезать на висках и на макушке, образуя все более заметные залысины.

Палеолог вцепился обеими руками в широкие мраморные перила балюстрады. Его отец Андроник, известный никейский военачальник и великий domestik, сурово подавивший на Родосе мятеж Льва Гавалы, решившего отложиться от империи, и потом присоединивший к ней Фессалоникское царство и большую часть Македонии, в конце жизни стал испытывать неизъяснимые мучения из-за того, что его волосы поседели и поредели. И чем только он ни занимался, чтобы вернуть им былой цвет и пышность – Андроник и красил их, и приклеивал на голый череп пряди чужих волос – так, как это делают женщины, и даже носил парики. Но если даже он и выглядел чуть лучше благодаря этому, то, откровенно говоря, это не стоило затраченных им трудов и понесенных мучений.

А с другой стороны, Михаил Палеолог сейчас понимал его даже лучше, чем прежде – ведь он и сам столкнулся с похожей бедой. И будучи богоизбранным правителем огромной империи, протянувшейся от Средиземного моря до Черного и Адриатического, верховным повелителем всех живущих на ней людей и владельцем всей находящейся в ее пределах земли, как городской, так и пахотной, и единственным из смертных, кто мог по праву носить традиционное пурпурное облачение, – он ничего не мог сделать со своими волосами.

И даже когда он поражал иностранных послов, садясь на свой трон Соломона, который под торжественные звуки органов начинал медленно подниматься вверх, пока император не оказывался выше всех в зале приемов Магнаврского дворца, он не был властен ни над собственной шевелюрой, ни над возрастом. Какие бы восторженные и полные подобоострастия отчеты ни оставляли иностранные посланники и легаты об этой встрече, где они удостоивались чести лицезреть избранного самим Богом василевса римлян.

Михаил Палеолог устало закрыл глаза. Где-то вдалеке пронзительно кричали чайки – они, как всегда, дрались за жирных мокрых рыбешек, которые наиболее удачливым из них удавалось вытащить из воды. В конце концов, всего этого могло не быть вообще. Ни переживания по поводу седых волос, ни сожалений о том, что молодость – а вместе с ней и силы – безвозвратно уходят. Ведь еще когда он жил в Никее, в поместье своего отца, на него поступил первый в жизни донос. Но какой – расследовать сообщение о якобы учинённом им заговоре с

целью захвата власти в Никее из Нового Рима прибыл сам каниклий, то есть «хранитель чернильницы» василевса Иоанна III, Константин Глика – в сопровождении комита банды копьеносцев Германа Метохия. А поскольку обвинения оказались совсем шаткими, Михаилу с ходу предложили пройти испытание «Божьим судом» – взять в руки раскалённое железо. Предполагалось, что если руки останутся целыми, обвиняемый невиновен. В противном же случае его признали бы преступником. И молниеносно расправились бы с ним – тем более, что его руки были бы сожжены раскаленным металлическим брусом и он, корчащийся от нестерпимой боли, не смог бы постоять за себя.

Тогда, в ответ на это безумное предложение Палеолог, у которого захватило дыхание от ужаса и зубы непроизвольно застучали, все же собрал последние силы и заметил присутствовавшему на допросе митрополиту Филадельфийскому Фоке: «Я – человек грешный и не творю чудес. Но если ты, как митрополит и человек Божий, считаешь, что мне стоит это сделать, то тогда своими святыми руками вложи в мои руки железо. И тогда я уповаю на Владыку Христа, что Он откроет истину чудесным образом». Митрополит, у которого тоже застучали зубы при мысли о том, что ему самому придется перекидывать на ладонях раскаленный до красна брусок, дрожащим голосом возразил, что это – варварский обычай, заимствованный римлянами из других стран, а потому он, как священник, не может в нём участвовать. Тогда Михаил ответил: «Если бы я был варвар и в варварских обычаях воспитан, то я по варварским законам и понёс бы наказание. А так как я римлянин и происхожу от римлян, то по римским законам пусть меня и судят!».

Хранитель чернильницы василевса Константин Глика едва не избил недалекого митрополита Филадельфийского своей тяжелой тростью – у него были совершенно другие инструкции, и они предусматривали, что молодой Палеолог не должен бы выпутаться из этой передраги живым. Не зря же Глику всюду преданно сопровождал отряд копьеносцев Метохия – ходивший за императорским посланцем, словно дрессированная собачка. Но все-таки дело происходило в Никее, где у Палеологов было много родственников, и разных верных людей – и хранитель императорской чернильницы быстро просчитал все возможные расклады, и, шипя себе под нос, словно пелопонесская гадюка, развернулся и укатил обратно в Новый Рим. Который многие по привычке называли Константинополем – по имени великого святого императора, который сделал его своей столицей, превратив бывшую захудалую греческую колонию Византий в гигантский величественный город, с огромным ипподромом и богатыми дворцами, храмами и площадями.

Тогда, на самой заре юности, его признали невиновным, сняв с него все обвинения. И он из вчерашнего живого мертвеца вновь – словно по мановению волшебной палочки – превратился в живого человека. И смог по совету отца начать строить военную карьеру – Андроник еще в раннем детстве Михаила заметил, что его сын весьма ловок и быстр, бесстрашно дерется на самодельных деревянных мечах и метает деревянное копье с тупым древком так, что едва не поражает на лету зазевавшихся голубей и ворон. Конечно, военная карьера была для него самым естественным поприщем.

Но, как оказалось, и самым опасным. Причем опасность, как обычно, пришла не с фронта, а приползла незаметной, еле слышно шипящей змеей из тыла. Когда Палеолог командовал войсками в Вифинии, он узнал, что уже новый император, сменивший Иоанна III – его единственный сын Феодор II Ласкарис, приказал схватить его и ослепить – по очередному обвинению в заговоре. А также насильно оскотить, превратив в евнуха. Или просто убить в ходе этой операции – известно же, что когда бывший соратник императора Льва V, Михаил Травл, зарубил его вместе с 7-летним сыном-соправителем Константином прямо во время рождественской службы в соборе Святой Софии, то потом он распорядился оскотить остальных четверых сыновей императора. Кастрация была выполнена настолько жестоко, что один из сыновей умер прямо во время операции, а другой от шока навсегда онемел.

Не желая себе подобной участи, Михаил тогда не стал раздумывать ни секунды – просто вскочил на своего гнедого жеребца Григороса, что означало «Быстрый», и ускакал к повелителю Конийского султаната Кейкавусу, дабы получить у него убежище. Тем более, что матерью Кейкавуса была гречанка Продулия – дочь христианского священника из Никомедии. А самого Кейкавуса, в отличие от его братьев Кылыч-Арслана и Кейкубада, считали тайным христианином.

Кейкавус не только принял полководца в своих владениях, но и поручил ему командовать отрядом своих греческих наемников, с помощью которых он боролся с монгольскими ордами хана Хулагу – родного брата Великого хана Мунке, который послал Хулагу на восток, чтобы он добыл для него и Анатолию. Аппетиты монголов не знали пределов и границ – им, уже покорившим огромные пространства от Китая до Кавказа, почему-то требовались и пустынные пределы Анатолии. В этом затянувшемся кошмаре противостояния с дикими монголами гибли греки, турки, персы, армяне, грузины, русы – все без разбору. Монголы походили на гигантскую воронку, неведомым образом появившуюся из Великой степи, чтобы поглотить все живое.

В одном из первых боев с этими раскосыми степными всадниками едва не погиб и сам Палеолог. Василевс непроизвольно вздрогнул, когда эта старая жуткая картина вновь пронеслась у него перед глазами, как будто случилась вчера, хотя с той поры прошло больше тридцати лет. Несколько длинных стрел и дротик пронзили брюхо его коня, лишь чудом не задев его собственные ноги, конь захрипел, стал валиться на землю – и он лишь чудом успел в самый последний момент спрыгнуть с него и откатиться в сторону, чтобы не быть придавленным к земле всей умирающей тяжестью коня. Но в тот самый момент, когда ему это удалось, и он хотел хотя бы на секунду перевести дух, Михаил увидел мчавшегося на него во весь опор всадника с кривой саблей наперевес. Всадник что-то страшно кричал – гортанным, не человеческим, а каким-то звериным криком, от которого кровь стыла в жилах, и тянулся своей зазубренной саблей к его шее. Михаил тогда явственно увидел это заостренное лезвие, покрытое запекшимися пятнами чьей-то крови, которое неумолимо приближалось к нему. Он взмахнул в воздухе своим мечом, пытаясь отразить удар, но монгол легко перебросил саблю в другую руку – с артистизмом и грацией самой Смерти, и вложил в бросок всю свою силу, помноженную на скорость его коня – такого же приземистого, косматого и свирепо-злого, как и он сам.

Михаил Палеолог был уже слишком опытным и много повидавшим на своем веку воином на тот момент, чтобы мгновенно и остро понять, что быть бы и ему убитым – в той битве нукеры хана Хулагу накосили огромную смертную жатву. К ночи все поле битвы было усеяно мертвыми телами, обрубками рук и ног – монгольские сабли резали так же остро и безжалостно, как и скальпели опытных хирургов Константинополя.

Но в тот момент, когда он уже распрощался мысленно с жизнью и лишь возносил какие-то бессвязные жалкие мольбы к Христу – с просьбой не оставлять его душу, или что-то вроде того – на ярком анатолийском солнце блеснула еще одна стальная грань. Это была старая алебарда, которой еще вчера хвастался Радогор Всполох – рассказывал, что силой отобрал ее у оруженосца одного фламандского рыцаря год назад, да так и таскал с собой, наострив и начистив сталь до волшебного блеска.

Татарская сабля ударилась о край алебарды и остро зазвенела в бездонном небе. Ее кончик отломился и с бешеной силой полетел в сторону Палеолога. Будь он даже быстрый, как хорек или ласка, византиец все равно не смог бы увернуться. Острый металл вонзился ему в щеку, фонтаном хлынула кровь. Глубокий рубец обозначал это место до сих пор. И должен был сойти вместе с ним в могилу, а потом – когда-нибудь – его узрит и сам Господь Бог на Страшном Суде. И, возможно, спросит его, грешного человека – что же тогда произошло на поросшем колючим астрагалом, голубыми звездчатками и жестким качимом поле в районе сонного городка Кайсери?

В тот миг, когда острие сабли вошло в его плоть, Михаил не почувствовал боли. Он почувствовал лишь жар – невыносимый, сухой жар анатолийского полдня, который вдруг прорвался внутрь, смешавшись с солёным вкусом собственной крови. Ратибор Всполох, добродушный гигант с волосами цвета молодого льна, который приехал служить Кейкавуса из далекого русского города с непроизносимым названием Искоростень, обрушил свою алебарду на голову монгольскому коню с такой силой, что косматая тварь рухнула, погребая под собой всадника.

Но степняк с переломанной саблей вылез из-под своего коня с проворством, какое невозможно было представить – и началась кровавая каша, которую Михаил помнил лишь урывками. Ратибор бился с ним, как лев, орал и рычал на монгола, пытаясь достать его своей алебардой, но тот увертывался, как змея, и постоянно кружил возле лежащего на земле и залитого кровью Палеолога, норовя добить его еще одним, последним, хлестким ударом – понимал, кто из них двоих значит больше, и целил в потомка Палеологов и Комнинов так, словно от этого зависела судьба всего наследия Чингисхана. Мгновения томительно тянулись, сознание византийца периодически отключалось, а схватка двух людей, больше похожая на схватку каких-то обезумевших диких животных, продолжалась. И не было на поле под Кайсери – предсказанного в книге Откровений Ангела с острым серпом, который прекратил бы это кровавое животное состязание.

Его все-таки сумел прекратить русский воин, Ратибор Всполох – в какой-то момент, изловчившись и воспользовавшись усталостью своего противника, он на непостижимую долю мига опередил его и вогнал свое короткое копьё ему под кольчугу. Удар был и не сильный, и не точный – скорее, он был нанесен наугад и куда-то вскользь, но глаза монгола стали неожиданно туманиться, и он чуть качнулся на своих кривых ногах. И тогда русский подхватил валявшуюся в пыли на сухой земле алебарду, и ударил монгола так, как бьют топором охотники раненого медведя – бешено и наотмашь, пытаясь раскроить его толстенный череп.

Лезвие алебарды Ратибора пропахало глубокую борозду в железном шлеме монгола, разрезало его кожаную подкладку, нестерпимо вонявшую застарелым потом, и чуть-чуть задело череп. Но этого оказалось достаточно – темные узкие глаза монгольского воина мгновенно помутнели, из его легких словно вышел разом весь воздух, и он принялся оседать вниз, на пыльную землю, которую только что так уверенно и упруго попирали своими кривыми ногами.

Но в этот миг все внезапно помутилось и в голове Палеолога, и он почти не помнил, что с ним произошло дальше... Помнил лишь, как он полз по земле, цепляясь за корни чахлах деревьев, как чья-то тяжёлая рука – это был снова Ратибор! – затащила его в густую поросль шиповника, и как он лежал там, зажимая рану, пока солнце совершало свой неспешный путь по небосводу.

Тогда, в той засаде у Кайсери, он понял две вещи. Первая: смерть не имеет лица, у неё есть лишь запах – кислый, приторный, похожий на запах прелых листьев и старой меди, покрытой ядовито-зеленой патиной от непогоды. Вторая: чудо нельзя заслужить, его можно только украсть у судьбы, пока она отвлеклась на кого-то другого.

Василевс разжал побелевшие пальцы, вцепившиеся в мраморные перила балкона. На ладонях остались краснеть две неровные полосы – следы давления, словно он всё ещё сжимал рукоять меча или поводья того самого Григороса, давно сожранного степными волками. Глубокая вмятина на правой щеке – та самая мета, подаренная ему на всю оставшуюся жизнь отколовшимся наконечником монгольской сабли – саднила при каждой перемене погоды. Вот и сейчас, при ясном солнце и спокойном море, она заныла, напоминая о себе тупой, ночной болью.

«Глупец, – подумал он о себе, глядя на отражение своего седого, иссечённого морщинами лица в полированном мраморе колонны. – Когда-то ты боялся прокисшего вина, заговоров старой ворожеи, жившей в покосившемся деревянном домике по соседству, слишком громкого карканья ворон – а потом вырос и понял, что бояться надо лишь своих собственных желаний. Чтобы они не унесли тебя слишком далеко – туда, откуда нет возврата и не может быть прощения».

В ту зиму в султанате Кейкавуса не было ни хороших врачей, ни лекарств. Врачи давно разбежались – кому охота заниматься своей непростой, требующей кропотливого труда профессией в забытом Богом султанате, по которому то и дело прокатываются волнами разные завоеватели, оставляя после себя лишь валяющиеся на земле трупы и пепелища сожженных домов? А лекарства исчезли потому, что их было слишком опасно везти туда – и слишком мало тех, кто мог бы заплатить за них хотя бы пригоршню серебряных монет.

Была только Продулия, мать султана, та самая гречанка-христианка из Никомедии. Она собственноручно промыла его рану вином, разбавленным мёдом, и зашила её неровными нитками, вырезанными из высушенных кишок горного барана, которые каким-то чудом не сгнили в её походном сундуке. Она же, глядя в его единственный незаплывший глаз, сказала тогда: «Ты кричал во сне по-гречески. Ты просил не свободу себе вернуть, а вернуть тебя в Новый Рим. Берегись своих желаний, ромей. Боги – они ведь тоже любят посмеяться».

Тогда он не понял её слов. Или не захотел понимать.

Сейчас, стоя на балконе своего дворца, который называли чудом света, Михаил Палеолог услышал за спиной мягкие, почтительные шаги. Слуга – старый евнух из тех, что ещё помнили времена Ласкарисов – замер на расстоянии трёх оргий, не смея приблизиться.

– Повелитель, – голос евнуха дрожал, словно натянутая тетива. – Прибыл посол от Карла Анжуйского.

Василевс не обернулся. Он продолжал смотреть на море, на солнечных зайчиков, что плясали на волнах, словно золотые монеты в руках напившегося купца, решившего поразить своим богатством припортовый кабак – и сгрудившихся перед небольшой сценой полуголых танцовщиц. «Сицилийский сибарит, – мелькнула мысль. – Вечно голодный пёс, который хочет отгрызть мой Константинополь. И ради этого он готов подкупить папу, отравить моего сопратителя и перессорить всех королей Европы».

– Пусть ждёт, – голос императора прозвучал глухо, почти равнодушно. – В приёмной зале. Там, где висят портреты его предшественников, которым мы отказали.

Евнух поклонился и исчез, рассыпаясь в тихой скороговорке подобострастных «аминь».

Михаил провёл ладонью по лицу, наткнувшись на тот самый рубец. Когда-то он ненавидел его, пытался сбивать наросшие вокруг него щетинистые волосы, заливал свинцовыми белилами. Но щетина росла снова – жёсткая, седая, колючая. Теперь он гладил этот шрам как память о том удивительном дне, когда смерть действительно посмотрела ему прямо в глаза и по какой-то своей степной прихоти сморгнула первой.

«Тогда, в Кайсери, мне удалось заключить сделку с судьбой, – вдруг подумал Палеолог. – И купить себе тридцать лет жизни. В течение которой мне посчастливилось стать императором».

Он посмотрел на свой золотой тавлион – нашивку в виде золотого ромба на императорском плаще. Под страхом немедленной смерти всем остальным подданным империи запрещалось иметь на своей одежде нечто подобное – ношение золотого тавлиона являлось исключительной прерогативой императора. Золотой ромб позволял византийским солдатам и морякам мгновенно определять императора во время битв – и спасти в случае необходимости его от вражеских копий и стрел.

– Золотой тавлион, – прошептал Палеолог и усмехнулся одними уголками губ. – Предмет вождения любого взрослого ромея – если только он не погряз в пьянстве или обжорстве, и

не превратился в законченного святошу, предпочитающего молитвы и распевание духовных гимнов всему остальному на свете. Итак, что же мне пришлось заплатить за него?

Ответ пришёл сам собой, холодный и вязкий, как вода в Босфоре в феврале.

Радость. Он отдал в виде платы простую человеческую радость. Способность хохотать без оглядки на возможных доносчиков. Возможность полюбить женщину так, чтобы сердце, а не политический расчёт подсказывало нужные слова. Он стал великим императором, но перестал быть живым человеком. Превратился в машину для удержания власти – такую же сложную, такую же блестящую и такую же бездушную, как органы в тронном зале Магнавра.

Было еще многое другое, чем ему пришлось пожертвовать ради власти. Сначала – ради ее захвата, потом – ради ее удержания. Цена была огромной, подчас безмерной, но он все-таки выплатил ее – и имел возможность платить и дальше.

А вот другие заплатили за его восхождение на престол своими жизнями. И первым на память приходил все тот же светловолосый гигант Ратибор Всполох. Когда Михаил пришел наконец в себя в доме Продулии и султана Кейкавуса, и его жар спал, и опасность смерти отступила, Ратибор вымолил разрешение навестить его – и смеялся и радовался, как ребенок. Он бурно вспоминал тот жутковатый бой с монгольским всадником и все грозил своим увесистым кулаком в сторону бескрайних степей, по которым скакали коротконогие всадники на своих косматых, не боящихся ни пронизывающего холода, ни обжигающего зноя лошадаках: «Ничево, магистр, они еще узнают нашу силу!»

Причем это странное слово – «ничево» – Ратибор произнес по-русски. Словно все должны были знать его. Но откуда? Слово было очень своеобразным, не похожим на другие. У сербов, которые иногда нанимались служить у византийцев, бытовало похожее слово – «ништа» – но оно и звучало по-другому, и значило не совсем то, что русское «ничево». В греческом языке тоже был аналог, но весьма отдаленный, и звучал совершенно иначе – «кафолу».

Михаил Палеолог покачал своей крупной головой, крепко посаженной на сильную мускулистую шею. Русь была совершенно не похожа на другие страны – и все, что было связано с ней, или происходило оттуда, тоже было окружено туманом, загадкой, играло не одним, а сразу несколькими смыслами. Даже православная вера, которая пришла на Русь из Римской империи, превратилась со временем в нечто иное – неуловимо отличное. Хотя все священнослужители, которые утверждали православие на Руси, были ромеями, поданными византийских василевсов – как и все русские церкви, и церковная утварь, и иконы в них. Вначале на Руси вообще было принято носить византийские монеты с христианскими изображениями как маленькие нательные иконы. При Михаиле IV в Киев был направлен митрополит Феопемпт, ставший Митрополитом Киевским и всея Руси. Великий русский повелитель Ярослав Мудрый очень любил его и специально для него обновил и расширил Собор Святой Софии, в котором стал служить Феопемпт.

Но уже как два индиктиона подряд, после взятия Киева монголами хана Батыя, столица Руси и сам Софийский собор были безжалостно разграблены, и русская митрополия в Киеве прекратила свое бытование. По крайней мере, последний русский митрополит Кирилл, который ездил в Никею к Константинопольскому патриарху Мануилу II для официального поставления на Киевскую митрополию, из Киева уехал, не в силах выдерживать гонения от татарских безбожников.

Палеолог прищурился, стараясь вспомнить поточнее. Что говорил ему об этом Великий логофет – Logothetes tou dromou, ведавший дипломатией и внешними сношениями Римской империи? Да, вроде бы митрополит Кирилл подался к новгородскому князю Александру, сумевшему сохранить под своей властью остатки Руси на севере страны, и стал служить ему. И вроде бы достаточно успешно – поскольку, по какой-то своей странной прихоти, татары согласились не трогать ни самого Новгорода, ни уцелевших там остатков православной церкви. Только переписали жителей для более точного сбора дани.

Михаил Палеолог вновь усмехнулся. Что и говорить, эти татаро-монголы были весьма прагматичны. Весьма! Когда надо – штурмовали огромные города и сравнивали их с землей, когда надо – оставляли в покое. Тот же Хулагу, взяв Багдад, не стал сразу лишать жизни багдадского халифа аль-Мустасима – сначала он долго и изощренно пытал его, пока тот не показал тайные казнохранилища Аббасидских правителей. Лишь после этого, убедившись, что халиф ничего не утаил от него, он распорядился переломать ему позвоночник. А затем Хулагу приказал немедленно восстановить Багдад, очистить город от убитых и мёртвых животных и вновь открыть базары.

Впрочем, Ратибору Всполоху это не помогло. Или тогда монголы были менее прагматичны, и больше жаждали крови своих противников? Ратибор был убит в очередной стычке через месяц после того, как Михаил Палеолог вылез из ран и вновь встал в строй. В русского богатыря тогда вонзились сразу три монгольские стрелы, одна сломалась и застряла в его теле, когда Всполох пытался вытащить ее, а затем ему на голову обрушился град камней из монгольской камнеметной машины, которую те притащили из далекого Китая. Византийцы тогда отошли назад, укрылись за естественным гребнем холма, и пережидали, пока на них перестанет лететь град камней из машины. Палеолог приказал вытащить Ратибора с поля боя и пытался понять, можно ли его спасти – перевязав раны и дав ему целебное питье.

– Ничего, – прошептал тогда русский. – Значит, пора мне...

На его широкой груди тускло блестел старый бронзовый крестик.

– А я думал еще долго воевать с тобой, магистр, – через силу улыбнулся Ратибор. – У тебя это хорошо получается. Но не судьба, значит. Ничего...

Да, он еще тогда разглядел в нем великое будущее, этот полуграмотный русский воин Ратибор. И хотел идти за ним верно служить ему. Если бы он не погиб тогда, то быть бы ему турмархом, или даже стратилатом. Но этого не случилось, ибо на его пути встали несколько монгольских стрел – и дурацкий камень, точно запущенный хитроумной китайской машиной.

– Знаешь... – Губы русского воина запеклись, и он едва шевелил ими. – Я ведь по правде и не из Искоростеня вовсе. А из Великого Новгорода. И служил не в Киеве, а в дружине князя Александра Ярославича, которого потом прозвали Невским. Но полаялся с ним, когда татарские баскаки и даруга заявили в Новгород взимать дань. Тогда пришлось бежать от гнева княжеского и татарского – далеко, куда глаза глядят. – Он чему-то улыбнулся: – И не Ратибор я, а Сава. Сава из Новгорода... – Его дух на этих словах отлетел – а Палеолог еще долго дивился судьбе этого русского, который убежал от гнева своего повелителя и не побоялся искать новую судьбу в тысячах стадий от родного дома, в который он так никогда и не вернулся.

Сзади вновь послышались шаги. Но на этот раз – более уверенные, тяжёлые. Он узнал эту поступь: Георгий Акрополит, его первый министр и его же почти единственный друг.

– Государь, – голос Георгия звучал мягко, но настойчиво. – Посол Карла Анжуйского привёз не только угрозы. Он привёз письмо от твоего племянника. И... известие из Генуи.

Михаил наконец-то развернулся.

Солнце било ему в спину, выхватывая из полумрака дворцового зала высокую фигуру министра. На лице Акрополита застыло то самое выражение, которое император научился читать за многие годы – «новости плохие, но терпимые, если действовать жестко».

– Читай, – коротко бросил Палеолог, возвращаясь в тень колоннады. – Только без придворных витиеватостей. Мы слишком стары, чтобы украшать яд сахарной глазурью.

Министр развернул пергамент, на миг зажмурился от яркого света, а затем произнёс:

– Венеция подписала с Карлом Анжуйским секретный договор. Они дают ему флот. А наш племянник... он подтвердил, что армяне Киликии готовы пропустить монголов через свои перевалы. Снова.

Василевс усмехнулся, и этот смех был похож на лязг цепей.

– Снова монголы, – тихо повторил он, глядя на крикливых чаек, что дрались за рыбу у самого пирса. – И снова греки, готовые резать греков. И снова западные волки, которые хотят прийти и всё отнять. Ты знаешь, Георгий, что общего между мной в сорок лет и мной сейчас?

Министр промолчал, зная, что вопрос риторический.

– Ничего, – ответил сам себе Палеолог. – Я так же боюсь пылинок в глазу. Просто теперь у меня есть власть сделать так, чтобы от этих пылинок страдали другие.

Он провёл ладонью по выбритому подбородку, затем опустил глаза на свои руки. Руки воина – узловатые, сильные, покрытые старческими пигментными пятнами. В них не было изящества царедворцев. В них была смерть, зажатая между костяшками пальцев, – чужая, но иногда и своя.

– Приготовь зал для приёма, – наконец произнёс император. – Посол Карла получит аудиенцию сегодня. И пригласи туда же... того самого старца из Сицилии, который называет себя пророком. Того, кто предсказал мне трон. Пусть сидит у трона на скамеечке для рабов, – губы Палеолога искривила жёсткая усмешка. – Пусть сицилийцы видят, что даже их пророки служат нам.

Акрополит поклонился и вышел, оставив императора наедине с морем, чайками, седыми волосами и рубцом, который никогда не заживёт до конца.

Михаил Палеолог в последний раз взглянул на Мраморное море, где солнечный свет играл с водой всё так же беззаботно, как тридцать лет назад в Анатолии. Природа не старела. Только люди.

А он, наверное, уже перестал быть человеком. Превратившись в то, чего так боялся: в каменного истукана с императорским венцом на голове, который даже не может заплакать от жалости к себе, потому что боится пылинок.

«Пора», – сказал он тихо сам себе, оторвавшись от перил.

И, расправив плечи, словно надевая невидимый панцирь, василевс римлян направился в тень своего дворца, где его уже ждали ненависть, ложь и бесконечная, утомительная работа по удержанию мира, который вот-вот должен был рухнуть ему на голову.

Глава 2. Вместо смерти – императорский порфир

Смерть Ратибора Всполоха, оказавшегося вовсе и не Ратибором и вовсе не из Искоро-стенья, была не единственной неразгаданной тайной, окружавшей Михаила Палеолога во время его бегства от уготованной ему смерти. Чем дольше он служил султану Кейкавусу, тем все более странно он себя ощущал. Он достиг больших успехов в отражении татарских атак, он сумел постичь традиционную татарскую тактику – нападение не слишком больших сил в центре, которые лишь беспокоят и отвлекают, в то время как основные силы спрятаны на флангах, и будут готовы обрушиться всей мощью в подходящий момент, который выберет татарский полководец, призывно махнув одним из своих разноцветных шелковых платков. И он научился успешно противостоять этой тактике, также скрытно размещая резервы в труднодоступных местах и приводя их в движение по заранее согласованным сигналам.

Но сам султан Кейкавус вдруг стал вести себя очень странно. Он перестал посылать Палеолога в походы против татар. А если и посылал, то запрещал Михаилу идти во главе отряда в самые опасные места, и лично рубиться с противником. Выделил ему двух рослых молчаливых телохранителей, которые неотступно следовали за Палеологом и следили за тем, чтобы тот не переходил установленных султаном границ. Все это было очень странно – и унижительно. Палеолог не выдержал и наконец обратился к султану напрямую:

– Что происходит, Кейкавус? Я прибыл к тебе не нянчиться с врагом, а воевать с ним! Какая тебе в конце концов разница – погибну ли я в бою или останусь целым? Это моя жизнь!

Лицо султана Кейкавуса некоторое время оставалось непроницаемым. Он явно был готов к такому повороту – или предвидел его. После длительной паузы, он проронил:

– Это важно не мне, а василевсу Феодору Ласкарису.

Михаил Палеолог побледнел:

– Что происходит? Почему я узнал об этом только сейчас?

Султан пристально посмотрел на него и проронил:

– Я думал, ты уже догадался...

– Нет! – вскричал Палеолог. – Откуда? – Он стиснул кулаки: – И что же нужно василевсу?

Кейкавус некоторое время разглядывал массивные золотые перстни у себя на пальцах, украшенные крупными сапфирами с загадочного острова в океане, который арабские купцы называли Серендиб. В Римской империи остров был известен под названием Тапробана – вот только никаких торговых связей римляне с этим островом не имели, арабские купцы никого и близко не подпускали к этой золотой жиле.

– Священной особе василевса угодно, чтобы тебя не коснулась никакая напасть. Он желает, чтобы даже волос не упал с твоей головы. – Султан тяжело, изучающе посмотрел на Палеолога: – Ибо Феодор Ласкарис хочет вернуть тебя к себе.

– Вернуть? – Михаил рассмеялся, но смех его походил на кашель человека, поперхнувшегося дымом. – Чтобы ослепить? Или оскотить? – Его лицо исказила дьявольская усмешка: – Или, может быть, он решил подарить мне дворец в Никее и ежегодную щедрую пенсию за верную службу?

Кейкавус медленно покачал головой, отчего тени на его лице заходили ходуном. Свет масляных светильников, что горели в шатре, дрожал от сквозняка, и крупные сапфиры на пальцах султана то вспыхивали глубокой синевой, то гасли, превращаясь почти в мутные стекляшки.

– Тебе не понять, ромей, – тихо произнёс он, переходя на греческий – язык своей матери. – Вы, ромей, мыслите как люди, у которых есть время. У нас, турок, времени нет. Мы живём между ударами копыт. Феодор Ласкарис предложил мне то, от чего я не могу отказаться. Тор-

говый договор. Золото. – Он многозначительно помолчал и с силой выдохнул: – И главное – признание моей власти над землями, которые вы, греки, до сих пор считаете своими.

Похоже, султан уже все решил. Точнее, эти двое – султан Кейкавус и Феодор II Ласкарис, сын того самого императора Иоанна III, который давным-давно хотел казнить Михаила – уже решили все между собой.

– И что же я должен сделать? – голос Палеолога звучал глухо, словно доносился со дна колодца.

– Ты должен вернуться. Добровольно. С охранной грамотой, подписанной Феодором, скреплённой моей печатью и печатью патриарха. Тебе обещана жизнь. И даже... – султан запнулся, – даже положение.

– Какое положение? Придворного шута? Или наставника над царскими мулами?!

– Мегадука, – выдохнул Кейкавус. – Командующего флотом.

В шатре повисла такая тишина, что стало слышно, как шипит фитиль в светильнике и как где-то далеко за стенкой шуршит песок, пересыпаемый ветром.

Михаил Палеолог закрыл глаза. Пока их еще не успели выдавить своими раскаленными клещами шустрые императорские палачи.

Мегадук. Вторая должность в империи после самого василевса. Человек, которому подчиняются все морские силы, все порты, все верфи. Мечта любого аристократа, выросшего на берегу моря и впитавшего солёный воздух с молоком матери.

– И что взамен? – спросил он, открывая глаза. – За такую небывалую щедрость?

– Клятва, – коротко бросил султан. – Торжественная клятва, что ты никогда не будешь претендовать на трон.

Палеолог кивнул. Его мутило. Но это был не конец – султан безжалостным тоном продолжал:

– И что ты не оставишь наследников, которые могли бы это сделать.

– То есть... – Палеолог вдруг понял, о чём идёт речь. – Он хочет, чтобы я дал клятву безбрачия?

– Не совсем. – В голосе Кейкавуса послышались нотки, похожие на сочувствие. – Он хочет, чтобы ты дал клятву не иметь детей. Тех, кто мог бы продолжить род Палеологов.

Палеолог почувствовал, как у него пересохло в горле.

– Это безумие, – прошептал он. – Ни один мужчина не даст такой клятвы. Это против природы. Против Бога.

– Против Бога? – Султан невесело усмехнулся. – Ты забываешься, ромей. Бог всемогущ и всемогущ, но... Порой он только направляет действия самих людей – но не повелевает ими до конца.

Султан откинулся на мягкие подушки.

– Порой Бог – как игрок в шахматы, который двигает фигурки, но они в конечном счете ходят сами, и сами несут ответственность за свои ходы. Знаешь, что я почувствовал?

Глаза султана сузились.

– Я почувствовал, что Феодор Ласкарис боится тебя. Боится тебя не как воина. Он боится твоей крови. – Султан помрачнел, – Палеологи – опасная порода. Вы пускаете корни там, где другие вянут.

Михаил подошёл к выходу из шатра и откинул полог. За тонкой тканью открылся чужой, враждебный мир. Кочевье султана Кейкавуса раскинулось на несколько стадий – сотни шатров, дымные костры, фигуры всадников на горизонте. Где-то там, за грядями холмов, была Никея – город, где прошла его юность. Где-то дальше – Новый Рим, город его мечты. А за ним – море, и за морем – земли, о которых он даже не смел грезить.

– Что ты посоветуешь мне, султан? – спросил он, не оборачиваясь.

– Я? – Кейкавус помолчал. – Я советую тебе то, что советовал бы своему сыну. Живи. Дыши. Держи меч острее, чем язык. И помни: любой договор можно переписать, если у тебя есть достаточно золота или достаточно железа. А дети... – он вздохнул, – дети не всегда бывают наградой. Иногда они бывают наказанием.

Михаил Палеолог раздумывал над советом султана больше года. Он не спешил – понимал, что слишком скоропалительный шаг может стать и последним, роковым.

Но через год Палеолог все-таки решился – и возвратился в Никею.

Охранная грамота, скреплённая печатями, лежала у него за пазухой, грея грудь, как живое существо.

В городе его встретили настороженно. Дома, которые он помнил, показались меньше, уже, словно сама Никея сжалась, боясь его присутствия. Отец, старый Андроник Палеолог, принял его с холодным величием, не обнял, лишь кивнул. Мать – женщина с лицом, изъеденным оспой, – заплакала, но быстро ушла в свои покои.

– Ты вляпался в историю, сын, – сказал Андроник, когда они остались вдвоём в комнате, где Михаил играл в детстве деревянным мечом. – Феодор Ласкарис известен своим злопамятством. И он не простил тебе побега.

– Он сам виноват, – буркнул Михаил. – Зачем было посылать за мной убийц?

– Убийц? – Андроник приподнял бровь. – Ты преувеличиваешь. Тебя хотели взять под стражу, не более. Стандартная процедура. Кого-то все время берут под стражу, потом разбираются и отпускают.

– А оскпление? – Михаил повысил голос. – Это тоже была шутка?

Старый domestик помолчал, потом тяжело опустился на скамью.

– В империи беспокойно, – наконец произнёс он. – Ласкариды боятся потерять трон. А ты – один из тех, кто может его занять. Твоё происхождение... Комнины, Ангелы, Палеологи – это все твои предки. Слишком много намешано разной императорской крови в одном человеке!

В полупустом холодном помещении воцарилась тяжелая тишина.

– Я не рвусь на трон, – тихо сказал Михаил. – Я хочу воевать. Защищать империю. Умереть с честью, а не от старости в постели, пуская газы и слушая, как мои внуки делят наследство.

Старый Андроник нервно сжал край тяжелого бархатного плаща. Он нужен ему был не столько для подтверждения высокого статуса, сколько просто для того, чтобы согреться. В последнее время старика постоянно знобило.

– Все так говорят, – усмехнулся отец. – Мой брат тоже так говорил. Знаешь, где он сейчас? В земле. И его дети нищие. Потому что он не думал о будущем, а только размахивал мечом.

– Так ты хочешь, чтобы я дал клятву Ласкарису? – в упор спросил Михаил.

Андроник долго смотрел на него изучающим, тяжёлым взглядом.

– Я хочу, чтобы ты выжил, – сказал он наконец. – А остальное – приложится.

Клятву Михаил дал через неделю – ровно столько ушло у него на то, чтобы добраться до тщательно охраняемой резиденции василевса Феодора II Ласкариса. Он дал ее в присутствии патриарха Мануила II, самого Феодора Ласкариса, и ещё десятка высших сановников империи. Которые внимательно слушали – и еще более внимательно смотрели, подмечая каждое движение Палеолога.

Текст был длинным, витиеватым, наполненным богословскими терминами и бесконечными ссылками на Священное Писание. Михаил почти не слушал, что читает дьяк. Он смотрел на Феодора – болезненного, с мешками под глазами, с нервно подёргивающимся веком –

и думал: «Почему этот человек боится меня? Я – всего лишь солдат. Он – император. У него есть власть, есть армия, есть флот. Что я могу ему сделать?»

Но где-то в глубине души он знал ответ.

Он мог всё. Потому что Феодор Ласкарис был болен. И не телом – душой. Он боялся смерти, боялся заговоров, боялся темноты и громких звуков. А Михаил Палеолог не боялся ничего, кроме пылинок в глазу – и то, как выяснилось много позже, лишь в старости.

– Клянусь, – громко и звучно произнёс он, когда дьяк закончил. – Клянусь Господом нашим Иисусом Христом, Богородицей и всеми святыми, что не буду претендовать на престол ромеев, не вступлю в брак без соизволения василевса и не оставлю после себя наследников мужского пола, способных поднять мятеж или оспорить власть законных императоров из дома Ласкарисов.

Феодор Ласкарис слушал, и его веко дёргалось всё сильнее. Когда Михаил замолчал, император сделал знак, и слуга поднёс ему золотую чашу с вином.

– Пей, – сказал Феодор глухим голосом. – Пей и знай: отныне ты – мой человек.

Михаил взял чашу, поднёс к губам и сделал глоток. Вино оказалось кислым – таким же кислым, как этот миг, как эта клятва, как вся его дальнейшая жизнь, которая теперь принадлежала не ему, а больному старику на троне.

Но никакой должности мегадука Палеолог так и не получил.

– Это было бы глупо, – пожал плечами василевс. – Должность мегадука подразумевает, что ты будешь начальником флота. Но весь флот состоит из двенадцати старых трирем, четыре из которых не могут выйти в море без риска утонуть. А восемь других такие старые, что утонут во время первого же серьезного волнения. Матросы не получали жалованья полгода и питались чем придётся. Оружейные склады пустуют. Быть мегадуком такого флота – совершенно бессмысленно.

Палеолог непонимающе уставился на василевса. Чего тогда вообще стоили все его обещания, все клятвы?

– Вместо этого я хочу наградить тебя должностью великого коноставла. – Тусклые глаза Феодора Ласкариса буравили его. – По хорошему, ты ее не заслужил. Но заслужишь, если хорошо проявишь себя на войне против Эпира, куда я тебя посылаю.

Палеолог застыл на месте. Василевс все-таки решил воевать с Эпиром? Довольно неожиданно... А ведь лет сто назад это было невозможно представить себе в принципе – тогда Эпир являлся составной частью Римской империи, ее древней, неотъемлемой частью, и управлялся из Константинополя – точно так же, как и все другие фемы и города Империи.

Все изменилось в 1204 году, когда крестоносцы вместе с венецианцами захватили Константинополь, и начали раздел великой империи. Константинополь они превратили в центр Латинской империи, которой начал править Балдуин I Фландрский, который стал носить одежды византийских императоров и подписывать свои грамоты красными чернилами, как и они. Остальную часть Греции латиняне разделили на Афинское герцогство, Ахейское княжество на полуострове Пелопоннес и Фессалоникское королевство на севере. Те же части Византии, которые не подчинились латинянам, тоже распались на три государства – Никейскую и Трапезундскую империи в Азии, и Эпирский деспотат в Греции.

Василевс Феодор Ласкарис правил в Никейской империи. Он превратил ее в базу для того, чтобы отвоевать Константинополь и восстановить Византию.

Но с Константинополем все пока было очень сложно – позиции чужеземцев там были слишком сильны. Балдуин II де Куртене Порфироносный и его тесть Жан де Бриенн, бывший король Иерусалима и император-регент Латинской империи, были искусными и опытными правителями – и защищали границы своей небольшой империи с отвагой и отчаянностью волков, стерегущих родовую территорию. И Феодор Ласкарис, и его отец Иоанн III Дука

Ватац не раз подступались к стенам Константинополя – но всякий раз отступали, не довершив начатое. Их смущали огромные потери, которые пришлось бы понести при осаде города – и волновало то, что Запад ответит на это новым крестовым походом, которого хотелось бы любой ценой избежать. Тем не менее, окраинные земли Латинской империи они отвоевывали и отрезали изрядно – и крепости Пиманион, Лентианы, Хариор и Бербениак, и острова Лесбос, Самос и Хиос. А потом никейский флот захватил и остров Родос – «жемчужину Средиземного моря», как его по праву называли. Но поистине, всему было свое время...

Трапезундская империя, хоть и управлялась теми же вчерашними византийцами Комнинами, потомками византийского императора Андроника I Комнина, и ощущала культурное и политическое влияние Константинополя, постепенно дрейфовала прочь от Византии – в сторону Востока. Уже через пятьдесят лет после ее отпадения от Византии большинство населения Трапезунда составляли не греки и римляне, а лазы и турки-сельджуки. Несмотря на всю ловкость и политическое хитроумие Комнинов, их империя постоянно теряла земли и города в пользу различных тюркских завоевателей, которые неуклонно съедали ее территорию. Одним словом, это была та часть бывшей Римской империи, которая никак не могла способствовать ее возрождению – скорее, наоборот. Поэтому василевс и не собирался покорять Трапезунд – лучше было его вообще не трогать и позволять ему постепенно впадать в упадок и отмирать, как отмирает сухое дерево.

Эпирское царство в этом смысле было гораздо более интересным обломком бывшей Византии. Основателем Эпирского царства был Михаил I Комнин Дука, внебрачный сын севастократора Иоанна Дуки, брата императора Алексея III. Дабы гарантировать безопасность своего господства на международном уровне, Михаил I предпринимал рискованные дипломатические манёвры. Он даже признал верховенство римского папы и обещал унию эпирской церкви с Римом, так как надеялся на папскую защиту от венецианских атак. В дальнейшем он, естественно, рассорился с папой и возвратился в православие. А когда он был зарезан в собственной постели одним из слуг, то ему наследовал родной брат Феодор Комнин Дука, который вообще принялся воевать с Латинской империей, намереваясь захватить Константинополь и самолично восстановить Византийскую империю. Он разбил третьего императора Латинской империи – внук короля Людовика VI Толстого, Пьера II де Куртене, устроив засаду в горных теснинах. Сам латинский император то ли сразу пал в той битве, то ли был схвачен и умер в эпирском плену. И после этого Латинская империя уже никогда не смогла восстановить ни свою былую территорию, ни былую мощь. Тогда Феодор Комнин Дука был так окрылён своими победами, что счёл себя вправе короноваться императорским венцом и стать императором ромеев – и не признавать этого титула за императором Иоанном III Дукой Ватацем, вступившим на никейский трон в 1221 году. Феодор вплотную приблизился к Константинополю и начал опустошать окрестности латинской столицы, готовясь к осаде. Однако на этом закончились успехи эпирского императора.

Он решил пойти войной на болгар, был наголову разбит в битве при Клокотнице, попал в плен и был ослеплён болгарами за интриги против болгарского царя Ивана Асеня.

Эпирская империя ослабла настолько, что Иоанну III Дука Ватацу не заставило труда заставить нового правителя Михаила II отказаться от притязаний на Константинопольский императорский трон и признать законным императором самого Иоанна. И уступить ему значительную часть территории Эпира.

Теперь, насколько мог судить Палеолог, Феодор Ласкарис намеревался довершить начатое его отцом.

Вот только войска для покорения Эпира он Михаилу Палеологу не дал. Палеолог был вынужден направиться на войну с Эпиром во главе весьма слабого отряда солдат, к тому же плохо вооруженного и оснащенного.

Когда Палеолог попробовал предъявить претензии василевсу, тот лишь картинно развел руками:

– Извини, мой великий коноставл – других солдат у меня для тебя нет!

С трудом сдерживая ярость, Палеолог пристально смотрел на василевса Феодора. Может быть и так... Но в таких случаях василевс должен отдать часть своей личной гвардии – часть рослых бездельников-эскувиторов и «бессмертных», что охраняют его покой и благочестие – и отправить их на фронт.

– Нет у меня других солдат, – раздраженно бросил Ласкарис. – Тебя же я в любом случае жду с победой. Ведь ты же хороший военачальник, говорят. Вот и докажи!

На Палеолога уже грозно надвигался Великий логофет, Асекретис – секретарь тайной канцелярии императора и остальные архонты, давая понять, что аудиенция окончена. Делать было нечего. Михаил Палеолог развернулся и вышел, отчетливо печатая шаг по драгоценным мраморным плиткам императорских покоев, на которых зеленокрылые павлины – древние символы императорской власти – резвились среди золотых расцветающих цветов Рая. Если бы все эти картины действительно ожили, то император и его приближенные на самом деле оказались бы в Эдеме.

Запрыгнув в седло, Михаил некоторое время сидел на коне с мрачным напряженным лицом, никуда не двигаясь. Конь переминался под ним, косил темным глазом, отрывисто фыркал – но Палеолог его не слышал. В голове клубились обрывки каких-то странных мыслей, которые упрямо не желали складываться ни во что цельное. Он был как корабль в волнах без руля. Его судьба словно замкнулась в кованый круг, из которого не было выхода...

Не дожидаясь поводьев или шпоры, конь сам медленно двинулся вперед. Ритмичное покачивание в седле словно отрезвило Михаила. Он посмотрел на дорогу, и понял, куда движется конь. К дому. Там, где сейчас был отец.

Все правильно – надо спросить у него совета. Отец – единственный, кто мог бы подсказать ему, что делать.

Отец, Андроник Комнин Палеолог, хмуро и неприязненно посмотрел на него и повторил, упрямо качая головой:

– Нет, никакого совета ты от меня не услышишь!

– Но почему? – удивленно выдохнул Михаил.

– Потому что любой мой совет может стоить тебе жизни, – отрывисто произнес Андроник Палеолог. – А я не хочу играть жизнью собственного сына!

Михаил протянул руку, с силой сжал запястье отца:

– Если ты не дашь мне никакого совета, ты сразу убьешь меня. Здесь, в этом зале.

Их глаза встретились, и Андроника поразили холодный блеск в глазах сына. Каждый без слов понял, чего боялся другой.

– Ну, ладно, – Андроник Палеолог порывисто коснулся плеча Михаила, – ты услышишь мой совет. Когда военачальника посылают воевать, не дав ему войска – то он сам снаряжает свое войско. Продает или закладывает свое имущество, обращается к друзьям и родственникам, чтобы нанять солдат и купить им оружие. Так делали полководцы в Древнем Риме... так должен был бы поступить полководец ромеев и сейчас.

Андроник Палеолог недобро прищурился:

– Но... василевс не зря дал тебе такое слабое войско. Он явно не хочет, чтобы ты одерживал победы в Эпире.

– Да, похоже на то, – отрывисто бросил Михаил, глядя куда-то в сторону.

Андроник до боли сжал худые изможденные пальцы:

– Если ты каким-то чудом будешь одерживать победы – тебя обвинят в том, что ты желаешь захватить власть и занять место василевса. – Его голос дрогнул: – Ты знаешь, что делают с

теми, кого обвиняют в подобных преступлениях против священной особы императора. А если ты потерпишь поражения, и вернешься без войска, разгромленным – то тебя обвинят в том, что ты предал интересы империи, и казнят за это.

Поблекшие от возраста серые глаза Палеолога-старшего потемнели от страха и растерянности, он внимательно вглядывался в лицо сына, в глубокий шрам, пересекавший его правую щеку – след от кончика сабли татарского воина.

– Твой выбор в любом случае – смерть, – выдохнул отец.

В зале повисла гнетущая тишина.

– Конечно, – пробормотал Андроник, – ты можешь попытаться выбрать средний путь – убежать в монастырь и затаиться там, приняв постриг и навсегда отказавшись от своих амбиций. Но, боюсь, это будет точно так же воспринято как сочетание предательства и дезертирства – и в твой монастырь быстро придут особые посланцы василевса. И будь уверен, что монастырские двери распахнутся перед ними, и никто их не остановит.

Михаил Палеолог ничего не ответил. Его густые темные брови собрались в одну прямую сердитую линию, которая словно перечеркнула его лицо на две половины – верхнюю и нижнюю. В зале воцарилось долгое молчание. Было слышно лишь, как с сухими шелестом шевелилась листва старого фигового дерева за окном.

– Есть еще один путь, – произнес наконец Михаил, с видимым трудом разжимая губы и ворочая языком. – Делать то, что должен делать военачальник, посланный Византией в Эпир, и делать это... не спеша. Делать – и ждать. Само время может помочь. Василевс серьезно болен, и в любом случае не станет более молодым. Так что...

Старый Андроник яростно взмахнул в воздухе рукой:

– Уповать на помощь времени?! Сколько их было таких, кто верил в это – и погиб, потому что руки людей оказались быстрее и проворнее времени, а само оно никогда никому не пришло на помощь!

– Я все это понимаю, – устало кивнул Михаил. – Но разве есть какие-то иные пути?

Глава 3. Поход, где наградой является сама жизнь

Михаил Палеолог заложил почти все свои наследственные имения, чтобы раздобыть денег для своего похода в Эпир. Выручить удалось намного меньше того, на что он рассчитывал – пользуясь счастливо подвернувшимся случаем, купцы безбожно торговались и вытягивали в свою пользу каждый солид. Но это было все равно лучше, чем ничего. Михаил сумел нанять дополнительных людей, запастись острыми мечами из египетской стали, которые перерубали даже железные гвозди, и припасами еды. Эпир отличался гористой местностью, и в его сухих каменистых горах ничего не росло – ни смокв, ни фиг, ни даже диких слив. Не водились там и дикие пчелы, от которых мог бы остаться мед в укромных местах. А бродить по таким иссушенным горам без пищи означало встретиться с неминуемой смертью. Теперь от этой опасности он и его люди были избавлены – хотя бы на время. А дальше... дальше Палеолог полагался на Божью волю.

Начало похода не предвещало ничего хорошего. Уже на второй день несколько всадников из передового отряда сорвались в ущелье и там и погибли – вместе с лошадьми.

Михаил Палеолог приказал остановить колонну и сам осторожно, останавливаясь на каждом шагу, спустился в ущелье по крутой, осыпающейся тропе, которую местные жители, наверное, использовали раз в поколение – да и то лишь для погребения своих мертвецов. Тела воинов лежали среди острых камней, неестественно вывернутые руки и ноги придавали им сходство с куклами, из которых вынули всю начинку. Одна лошадь ещё хрипела, её тёмный глаз был полон такого человеческого ужаса, что Палеолог отвернулся и приказал одному из лучников добить животное.

– Господин, – окликнул его молодой турмарх Георгий Каллиакис, которого Феодор Ласкарис, издеваясь над обоими, в самый последний момент приставил к Палеологу в качестве «советника и помощника», – воины боятся. Говорят, земля Эпира не принимает чужаков!

– Земля здесь такая же, как и в Никее, – жёстко оборвал его Михаил, вытирая со лба противный липкий пот, густо смешанный с красной каменной пылью. – Просто Никея не пыталась нас убить. Пока.

Он пристально посмотрел на Каллиакиса – тощего, с вечно блестящими от волнения глазами, с тонкими пальцами писца, а не воина. Василевс Ласкарис прислал его шпионить, это было ясно как день. Но Каллиакис был из тех шпионов, которые сами не знают, кому служат, – слишком напуганы собственной тенью, слишком всего бояться, чтобы твердо выбрать сторону.

– Передай нашим людям, – продолжил Палеолог, взбираясь обратно на своего нового коня (старого Григороса он оставил в Никее, не желая рисковать единственным существом, которое не предавало его), – что тот, кто дойдёт до Эпира живым, получит земли для себя и своих детей. Я заплачу за их имения из своего кармана. – Его лицо помрачнело и он процедил сквозь зубы: – А тот, кто повернёт назад, получит петлю. Я тоже заплачу из своего кармана – но уже палачу.

Они выбрались из ущелья наверх, и войско медленно двинулось дальше. Путь через Пиндские горы оказался хуже, чем предполагал Палеолог. Узкие тропы, по которым можно было пройти лишь по двое, а то и по одному, тянулись бесконечной чередой – и то и дело обрывались там, где горы под головокружительным углом уходили вниз, и тогда дорогу приходилось искать вновь. Тропы здесь были не столько дорогами, сколько звериными лазами: узкие, каменистые, они тянулись бесконечной чередой, то раздваиваясь, то вовсе исчезая в осыпях. Шеренги распались сами собой. Воины двигались по двое, чаще по одному, прижимаясь спинами к шершавому, еще хранившему ночной холод камню. Солнце здесь было редким гостем: над головой нависали рваные, свинцово-сизые тучи, которые Пинд цеплял своими пиками. Лишь изредка ветер раздирал их, и тогда в прорехи бил ослепительный, неласковый

свет – он не грел, а лишь беспощадно высвечивал каждую морщину на лицах, каждый струп на руках и каждую бездну внизу. А когда облака смыкались вновь, мир гас, становясь похожим на изнанку серого одеяла.

Слева нависали скалы – не голые, а покрытые жесткой, почти металлической на ощупь растительностью. Это был колючий кустарник: можжевельник, скрюченный ветрами в причудливые узлы, и заросли барбариса, чьи кислые ягоды краснели, как капли старой крови. Каждая ветка цепляла за доспех, рвала плащ, а то и норовила выколоть глаз. Справа же разверзались пропасти, и смотреть туда было страшнее, чем в лицо монголам. На дне, на глубине, с которой человеческий крик долетал уже тоненьким, звенящим комариным звуком, белела пена горных рек. Там, внизу, жила своя, дикая жизнь: вода с ревом перекачивала валуны, и этот гул – то нарастающий, то затихающий – стоял в ушах постоянной, сводящей с ума угрозой. Оступившийся конь летел в эту пучину молча – крик просто не успевал догнать падение.

Флора здесь была угрюма и воинственна. Кроме колючек, выше начинались мхи: лишайники, свисающие со скал седыми космами, похожие на бороды мертвецов. Пахло сыростью, плесенью и чем-то сладковато-гнилостным. В расселинах, где скапливалась земля, скрючились карликовые сосны – их корни ползли по камню, как жилы по кости.

Дикие звери и птицы, увидев войско, не спешили прятаться. Наоборот, они казались подлинными хозяевами этих мест. С мрачных уступов за людьми наблюдали орлы-бородачи – такие огромные, что их тень, скользящая по тропе, заставляла воинов инстинктивно вжимать голову в плечи. Птицы не кричали; они парили в безмолвии, выжидая, когда человек дрогнет. В кустах то и дело раздавался сухой треск: это уползали гадюки – пепельные, с резким черным зигзагом на спине, смертельно опасные в своей незаметности. Одна такая укусила обозного мула, и животное рухнуло, забрызгав скалу розовой пеной, а через полчаса его остов уже облепили черные мухи и какие-то металлически-синие жуки-могильщики, удивительно проворные в этом царстве холода и камня. А из-за скал за людьми следили жутковатые в своей неподвижности глаза местных тощих волков, готовых в любой момент наброситься на отставших и добить раненых. Ближе к вечеру волки начинали завывать – и это тоскливое монотонное завывание вползало в души воинов страшнее любого боевого клика. Оно не было громким – наоборот, оно словно рождалось прямо из горного безмолвия, из трещин в скалах, из холодного воздуха, который уже не грели ни доспехи, ни молитвы. Волки не приближались, но и не отставали. Они держались чуть выше по склонам, на грани видимости, двигаясь параллельно колонне, как серая тень, что перетекала с уступа на уступ.

Это были не те сытые, лоснящиеся звери фракийских лесов, которых когда-то доводилось ветеранам, ходившими в далекие балканские походы. Здешние волки казались порождением самого Пинда – тощие до прозрачности, с поджатыми животами и торчащими ребрами, которые ходуном ходили под жесткой, свалявшейся шерстью. Их шкуры имели цвет мокрого камня: серый с пепельным отливом, и лишь на загривках проступала угольно-черная ость. Глаза же горели желтым – сухим, лихорадочным огнем, в котором не было ни страха, ни злобы в привычном понимании. Там была только сытая, холодная расчетливость палачей, привыкших ждать.

Солдаты, еще сохранившие остатки суеверий, крестились и сплевывали через левое плечо. Другие – закаленные рубаки, прошедшие не один бой, – бледнели и машинально крепче сжимали рукояти мечей, хотя понимали, что против этих тварей сталь почти бесполезна. Волк не нападет на строй – но строй держался не вечно. А ночью, когда костры догорают, когда часовые клюют носом, а где-то в обозе раздается хриплый кашель раненого – тогда серые тени появятся. Бесшумно. Без единого рыка. Только глаза в густой тьме – две горящие искры, которые видят тебя, даже когда ты сам слеп.

К вечеру, когда горы наливались густой синевой и очертания дальних гребней таяли, словно их стирала чья-то огромная ладонь, вой начинался снова. Сначала один голос – высокий, дрожащий, похожий на плач ребенка. Ему отзывался второй, третий, и вот уже вся округа

наполнялась этой жуткой, многослойной песней, которая, казалось, сотрясала сами скалы. Воины затыкали уши воском или просто грязью, но вой проникал сквозь пальцы, сквозь шлем, сквозь вату – он звучал внутри головы, нашептывая мысли о конце, о брошенных домах, о том, что обратной дороги нет.

Старый декурион по прозвищу Кремень, человек, который не вздрагивал, даже когда янычарская сабля вспарывала брюхо его коню, признался однажды Палеологу на ночном привале:

– Господин, я тридцать лет воюю. Меня турки не пугают. Латинские копья – тоже. Но эти проклятые звери... когда они молчат – хуже всего. Потому что тишина их значит только одно: они уже совсем близко.

И действительно, порой завывание вдруг обрывалось. Наступала такая тишина, что слышно было, как падает с камня замерзшая капля. В эти минуты воздух становился плотным, как перед ударом молнии. Люди сбивались плотнее, прижимались спинами друг к другу, лошади тревожно храпели и били копытами, чуя невидимую угрозу. И тогда в темноте, всего в нескольких шагах от крайнего костра, загорались два желтых угля. Или четыре. Или десять. Они не двигались – просто висели в воздухе, отдельно от тел, нездешние, насмешливые.

Одной темной ночью пропал человек. Обозный парень по имени Фока, нанятый Палеологом за небольшие деньги в Никее, который мечтал возратить из похода с добычей, и потом помогать отцу в его гончарной мастерской. Он просто отошел в кусты за нуждой. А нашли его только утром – растерзанного так, как не рвет даже самое голодное зверье. Не ради мяса, а ради жестокости. Правда, и мяса на его обглоданных досуха костях тоже почти не осталось...

Его товарищ Мефодий, обезумев, схватил факел и швырнул в заросли, но в ответ услышал лишь сухой смешок эха. Волки исчезли. Но на закате следующего дня они вернулись. Они всегда возвращались. Потому что Пинд принадлежал им – не римлянам, не императорским стратегам, а этим серым теням, чье завывание было древнее Христа и самого Константина.

Самое страшное начиналось там, где тропа внезапно обрывалась. Горы под головокружительным углом уходили вниз – пластом осыпающегося известняка и серого сланца, по которому невозможно было спуститься, не сломав шеи. Тогда передовой дозор останавливался, и по рядам сзади шёл гулкий, полный отчаяния ропот: «Нет пути». Приходилось возвращаться, искать обход, теряя часы, а то и дни. Каждый такой обрыв означал, что нужно снова взбираться вверх – на перевал, где ветер валил с ног, пронизывая мокрые хламиды до костей, или спускаться вниз, в новый овраг, где между камнями чавкала жидкая, ледяная грязь.

Люди падали. Не от ран – от усталости. Иные садились на камень и смотрели в бездну пустыми глазами, не в силах сделать ни шага дальше. Их приходилось поднимать пинками и матом, а то и просто швырять, как тюки, на крупы лошадей. Лошади спотыкались, лязгали подковами по камню, и их скользящий, полный животного ужаса храп смешивался с воем ветра в расщелинах.

Ноги многих воинов, обмотанные тряпьем и кусками кожи, стерлись в кровавые волдыри. Обувь – мгновенно ставшие дырявыми сапоги и цыркулии – разваливалась. Острый горный щебень лез внутрь, впиваясь в плоть. Каждый шаг отдавался болью в позвоночнике, в коленях, в голове. А впереди, в промозглой дымке, уходили всё дальше такие же скорбные, бесконечные гребни Пинда, и казалось, что у этой горной страны нет конца, как нет конца страданию.

Люди проклинали день, когда родились, проклинали Палеолога, проклинали василевса, проклинали даже патриарха, который благословил этот поход.

Михаил ехал или шел, спешившись, в середине колонны, стараясь держать лицо бесстрастным. Внутри же разрасталась холодная, вязкая уверенность, что отец был прав: его послали сюда умирать. Но не просто умирать – умирать медленно, мучительно, в горах, где

даже кости некому будет собрать для погребения. Изящная месть больного императора: не казнить официально, а дать возможность убить себя самому.

На пятый день пути, когда кончились припасы, а вода в бурдюках прокисла и источала неприятный запах, передовой отряд наткнулся на эпирскую засаду.

Это была не битва – резня. Эпироты, знавшие каждую расщелину, каждую пещеру, каждую тропу, обрушили на головы никейцев град камней и стрел. Люди падали, не успев даже вскрикнуть. Лошади ржали и бились в агонии, сбрасывая седоков в пропасть. Палеолог, оказавшийся в самой гуще, понял, что его отряд рассечён надвое и что если он не примет решение сейчас, через мгновение будет поздно.

– К скале! – заорал он, перекрывая шум. – Всем к скале! Живо!

Он первым погнал коня к нависающему скальному карнизу, под защиту огромного каменного выступа. За ним, спотыкаясь и матерясь, потянулись остальные. Стрелы с визгом вонзались в камень, высекая искры, рикошетили, калеча уже раненых.

Каллиакис, чудом уцелевший, прижимался к скале, бормоча молитвы. Глаза его были безумными.

– Мы погибли, – шептал он, – мы все погибли, страшил! Здесь нет выхода.

Палеолог жестко схватил его за ворот кольчуги и с силой притянул к себе:

– Выход есть везде, если у тебя есть меч и если ты не боишься умереть. Ты – боишься?

Или нет?!

Каллиакис замотал головой, но его трясущиеся руки говорили об обратном.

– Тогда делай, что я скажу, – тихо произнёс Михаил. – Ты знаешь и я знаю, что Ласкарис велел тебе следить за мной. Но сейчас он далеко, а эпироты – близко. И если мы не выберемся, твой господин не получит никаких донесений. Так что выбирай: ты со мной или ты с ними.

Он кивнул в сторону ущелья, откуда доносились победные крики нападавших.

Каллиакис побледнел ещё сильнее, но через силу кивнул.

– Что нужно делать?

– Прежде всего, не терять головы. Потерять ее мы еще успеем, это так просто... Эпирцы думают, что заперли нас здесь, среди этих скал, и им остается только добить нас. а мы должны постараться их обойти. – Палеолог помолчал и тихо произнес: – Это – наш единственный шанс.

– Я согласен, – сказал Каллиакис, стуча зубами. – Скажи, куда идти и что делать.

– Сначала я поговорю с лучниками. От них очень многое будет зависеть. – Палеолог скрипнул зубами: – А может быть, вообще все.

Михаил отдал приказ двадцати лучникам, уцелевшим в засаде. Они должны были зайти на гребень слева, отвлечь эпиротов ложной атакой. Сам же он с десятком самых отчаянных воинов решил обойти засаду с правого фланга, через каменный лабиринт, который заметил ещё на рассвете.

– Там, – указал он рукой, – есть проход. Я видел его, когда солнце вставало. Если повезёт, мы выйдем им в тыл.

– А если не повезёт? – спросил один из воинов, коренастый фракиец с обрубком вместо левого уха.

– Если не повезёт, – усмехнулся Палеолог, – то мы умрём, пытаясь убить их. Что, в общем-то, неплохо для людей, которых послали на смерть.

Они двинулись. Каменный коридор оказался даже уже, чем думал Михаил. Приходилось протискиваться боком, царапая доспехи о стены, рискуя свалиться в щели, откуда тянуло холодом и запахом сырости. Где-то в глубине капала вода – мерно, монотонно, словно отсчитывая последние минуты их жизнью.

Но они вышли. Вышли именно там, где рассчитывал Палеолог – за спиной эпиротов, которые, увлечённые обстрелом никейцев и перестрелкой с лучниками, старавшимися выполнить приказ Михаила, не ждали удара с тыла.

Палеолог выхватил меч и, не дожидаясь остальных, бросился вперёд.

Он рубил не глядя, не разбирая, кто перед ним – простой ополченец или знатный воин. Меч из египетской стали, на который ушли почти все его сбережения, пел в руке, рассекая кожаные доспехи, как гнилую ткань. Кровь брызгала в лицо, горячая, солёная, липкая. Кто-то кричал рядом, кто-то молил о пощаде, но Палеолог не слышал. Он слышал только стук собственного сердца и странный, далёкий голос, который шептал: «Ещё немного. Ещё немного. Ты не умрёшь здесь. Ты не умрёшь сегодня».

Подоспевшие воины довершили начатое. Эпироты, зажатые между скалой и мечами никейцев, дрогнули и побежали, оставляя на камнях своих убитых. Их командир, грузный мужчина с рыжей бородой, попытался организовать сопротивление, но фракиец с обрубленным ухом ловко метнул в него дротик, попав в шею прямо под забралом шлема, и тот рухнул лицом вниз, даже не вскрикнув. Остальные эпироты не стали испытывать судьбу и побежали прочь, словно зайцы. Вслед им летели острые стрелы никейцев, которые занимались уже не ложной атакой – а добиванием.

Когда всё кончилось, Палеолог опустил на камень и долго смотрел на свои руки, покрытые чужой запекшейся кровью. Каллиакис, живой и почти невредимый, стоял рядом, бледный, но с новым выражением в глазах – там, где раньше плескался только страх, теперь появилось что-то ещё.

– Вы... вы сделали это, – прошептал турмарх. – Вы их разбили.

– Я сделал только то, что должен был сделать, – ответил Палеолог, не поднимая головы.

– И теперь мы пойдём дальше. В самое сердце Эпира.

– Но зачем? – не понял Каллиакис. – Мы отбили атаку, мы выжили. Мы можем вернуться и доложить василевсу, что дорога непроходима, что эпироты слишком сильны... Что не с нашими силами пытаться завоевать их царство.

– А можем не возвращаться, – жёстко перебил его Михаил. – И тогда Ласкарис пошлёт другого. Который, возможно, погибнет. Или победит, но присвоит славу себе.

Он поднялся, сунул окровавленный меч в ножны.

– Нет, Каллиакис. Мы пойдём в Эпир. Мы покажем Феодору Ласкарису, что Михаил Палеолог не игрушка в его руках. Что меня нельзя послать умирать – потому что я умирать не собираюсь.

Он повернулся к уцелевшим воинам:

– Заберите оружие убитых, припасы, все, что найдёте. Похороните своих товарищей – хотя бы камнями завалите, чтобы звери не тронули. Мы выступаем через час. Тот, кто не выступит, останется здесь навсегда.

Воины, которые рассчитывали на длительный отдых, зароптали. Но под тяжелым взглядом Палеолога их ропот быстро прекратился, и они принялись делать то, что он приказал. Убитых было слишком много – как и оружия и припасов, которые надо было собрать и аккуратно разложить среди поклажи, навьюченной на коней. Поэтому подготовка затянулась. Палеолог не торопил – он видел, что люди и так выбиваются из сил. Но когда он заметил, что все готово, то немедленно отдал сигнал выступать.

Войско, уставшее, окровавленное, проклинающее всё на свете, двинулось дальше. Но теперь в их глазах не было видно одно лишь отчаяние. Сквозь усталость и боль пробивалось что-то ещё: уважение к человеку, который вёл их через смерть и не сломался сам.

А Михаил Палеолог, сидя в седле, думал о том, что Ратибор Всполох, Сава из Новгорода, погиб не зря. Тот, кто встретил смерть лицом к лицу и сморгнул первым, уже не боится ничего. Даже пылинок в глазу.

Глава 4. Деспот и его тень

Эпир встретил Михаила Палеолога не гостеприимством, но глухой, настороженной тишиной. Когда его отряд, измотанный переходами и стычками, спустился с гор на равнину, где среди оливковых рощ и пастбищ темнели крыши Арты – столицы деспотата, – из города не вышло ни одного посланника. Ворота оставались закрытыми, на стенах маячили фигуры стражников, и никто не приветствовал никейского военачальника ни хлебом, ни трубами.

– Боятся, – заметил Каллиакис, ёжась в седле от утренней прохлады. – Или готовят западню.

– И то и другое, – ответил Палеолог, разглядывая крепостные стены. Арта не была Константинополем – её укрепления казались жалкими по сравнению с Феодосиевыми стенами, но для его потрёпанного отряда они выглядели неприступными. – Но деспот не станет запираяться от горстки уставших людей, если только он не трус. А говорят, Михаил Комнин Дука не из робких.

Действительно, слухи о деспоте Эпира ходили разные. Одни называли его мудрым правителем, сумевшим сохранить остатки бывшего могущества после разгрома при Клокотнице, когда болгары под командованием царя Ивана Асеня разгромили армию Эпирского деспотата, и пленили ее повелителя Феодора Комнина Дуку – дядю Михаила Комнина. Собственно, после этого он и стал правителем Эпира – томившийся в плену Ивана Асеня дядя Феодор уже ни на что не мог претендовать. А потом Феодор Комнин попал уже в плен к никейскому императору Иоанну III Ватацу, и был выпущен оттуда лишь после того, как передал Никейской империи Фессалоники и принадлежащую ему часть Македонии.

Другие называли Михаила Комнина хитрым лисом, который меняет союзников чаще, чем перчатки, и готов поклониться кому угодно, лишь бы удержать власть. Третьи – жестоким тираном, не останавливающимся перед убийством близких родственников, если те встают на его пути.

Палеологу предстояло узнать, какая из этих правд настоящая.

Он приказал разбить лагерь в полутора стадиях от городских стен, на берегу реки Арахтос. Люди, уставшие до такой степени, что падали с ног, обрадовались и этому – хоть не надо лезть на стены под градом стрел. Палатки поставили на скорую руку, костры разожгли из сухих веток и оливковых прутьев, которые, как назло, горели коптящим, вонючим пламенем.

Сидя перед одним из таких костров и пытаясь отогнать ладонью едкий дым, который нещадно ел глаза, Палеолог размышлял над тем, что же делать дальше.

Прийти под стены Арты с горсткой измученных воинов было, конечно же, чистой авантюрой. Даже если он и появился здесь в ранге победителя, успешно разгромившего посланного убить его эпирский отряд.

Но... авантурой это являлось лишь отчасти. Откуда было знать Михаилу Комнину, что василевс Феодор Ласкарис специально выделил своему военачальнику такой маленький отряд для покорения Эпира? И совсем не желал ему победы? Это было бы противозаконно, непостижимо. Наоборот, глядя на скромные размеры отряда Палеолога, Комнин должен был считать, что это – всего лишь передовой отряд, за которым последуют другие, гораздо более мощные. Он должен был понимать, что над его государством нависла нешуточная угроза, и что василевс не остановится ни перед чем, чтобы заполучить Эпир. А значит, он должен был и к Палеологу относиться серьезно и с почтением.

О том, что будет, если вдруг Комнин – из-за своего мерзкого характера, по необъяснимой злой прихоти судьбы или по какой-то другой причине – вздумает поступить иначе, Палеолог старался не думать.

Он непроизвольно поёжился – не столько от вечерней прохлады, сколько от собственных мыслей. Дым от оливковых прутьев лез в глаза, носоглотку, выедал изнутри, словно сама судьба напоминала ему: ты здесь чужой, временный, дышишь чужим дымом на чужой земле.

Он прекрасно понимал, что его рассуждения о «почтении» Комнина – не более чем утешительная ложь для самого себя. Михаил Комнин Дука был не из тех, кто склоняет голову перед призраками. Эпирский деспот, или кем он там себя мнил, уже один раз перешагнул через авторитет Никейской империи, когда принял титул василевса, не спросив у Никейского василевса. Почему же он должен был убоиться какого-то Палеолога с горсткой оборванцев?

«Он не убоится, – подумал Михаил с тоскливой ясностью. – Он выйдет к стенам, посмотрит на мои потуги и поймёт всё. Увидит, что костры горят вонючей копотью, что люди едва стоят, что за спиной у меня нет никакого второго отряда. И тогда...»

Он отогнал ладонью дым, но дым тут же вернулся, облепив лицо липкой, едкой пеленой. Комнин мог поступить по-разному. Мог, например, не нападать, а запереться за стенами и ждать, пока этот жалкий лагерь сам развалится от голода и усталости. Мог выслать парламентариев с насмешливыми предложениями – отступить подобру-поздорову, пока не поздно. Мог, наконец, ударить ночью, потому что ночью усталые люди спят глубже, чем мёртвые.

Палеолог покосился на своих воинов. Некоторые из них уже спали прямо на земле, подложив под головы щиты. Другие тупо смотрели на огонь, не видя ничего вокруг. Поднять их на штурм? Сейчас? Смешно. У них даже лестниц не было.

Он не договорил мысль, даже сам себе. А дым всё так же ел глаза, костер чадил, река Арахтос равнодушно журчала за спиной, а впереди, в полутора стадиях, высились стены Арты – тёмные, молчаливые, и за ними кто-то, возможно, уже знал, сколько их здесь на самом деле.

«Надо было оставаться в Никее. Под любым предлогом», – прошептал Палеолог одними губами, но тут же устыдился своей слабости. Нет, назад дороги не было. Только вперёд – или в пропасть. А Комнин пусть думает что хочет. Главное – чтобы он думал долго. Чем дольше – тем больше шансов, что в его голову закрадётся сомнение. А сомнение, иногда, спасает лучше, чем тысяча копий в руках собственных воинов.

Он подбросил в костёр ещё несколько оливковых прутьев, и пламя взвыло чёрным, маслянистым столбом.

– Господин, – Каллиакис подошёл к нему, когда солнце уже клонилось к закату, окрашивая воды Арахтос в кровавый цвет, – из города прибыл посол. Просит встречи.

Сначала Михаил Палеолог не поверил услышанному. Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но потом, кое-как справившись с собой, с солидным видом кивнул:

– Пусть войдёт.

Посол оказался старым священником с выцветшими глазами и дрожащими руками. Он был облачён в поношенную рясу, на груди висел медный крест, вытертый до блеска. Палеолог сразу понял: этот человек – не дипломат, а вестник. Его послали не договариваться, а прощупывать. Напряжение, которое было отпустило на миг византийца, вновь впилося в него изнутри, заставляя коржиться, словно на медленном огне.

– Благослови тебя Господь, военачальник, – прошептал священник, широко осеняя Михаила крестом. – Деспот Михаил Комнин, повелитель Эпира, шлёт тебе приветствие и спрашивает: с миром ли ты пришёл в его землю?

Палеолог смерил посланника долгим взглядом.

– С миром, – ответил Михаил Палеолог, хотя его рука лежала на рукояти меча. – С миром и со словом от василевса Феодора Ласкариса, который желает своему брату-деспоту здоровья и долголетия.

Священник поморгал, явно не ожидая такой любезности.

– Деспот спросил ещё, – продолжил он, запинаясь, – сколько воинов привёл ты и как долго намерен оставаться в его пределах.

– Скажи деспоту, – Михаил подался вперёд, и старик невольно отшатнулся, – что воинов у меня ровно столько, сколько нужно, чтобы защитить себя. А останусь я ровно настолько, насколько потребуют обстоятельства. И если деспот желает говорить, пусть говорит сам, не прячась за спину священника, которому самое место у алтаря, а не в лагере вооружённых людей.

Старик испуганно закивал и, пятась, вышел из палатки.

Каллиакис, наблюдавший за сценой из угла, покачал головой:

– Ты оскорбил его, господин. Деспот не простит.

– Я не оскорбил деспота, – возразил Палеолог. – Я оскорбил его посла. А это разные вещи. Если деспот умён, он поймёт. Если нет – тем лучше: глупым врагом управлять проще.

Встреча состоялась на следующий день, не в городе, как ожидал Палеолог, а в поле, на нейтральной полосе между лагерем и стенами Арты. Деспот Михаил II Комнин Дука приехал с пышной свитой – человек тридцать всадников в богато украшенных доспехах, с длинными копьями, на которых развевались алые вымпелы. Сам деспот восседал на белом коне, покрытой попоной с вышитым золотым двуглавым орлом, и лицо его было скрыто под забралом шлема.

Палеолог приехал с тремя – Каллиакисом, фракийцем с обрубленным ухом и ещё одним ветераном, Иоанном Филопоном, чьё лицо было страшно изуродовано ожогами, полученными в сражениях с болгарами. Никаких вымпелов, никакого орла – символа империи. Только остро наточенные мечи... и бесконечная усталость.

– Деспот Михаил, – громко произнёс Палеолог, спешиваясь и склоняя голову ровно настолько, насколько требовал этикет, – великий дука и владыка Эпира, я приветствую тебя от имени василевса ромеев Феодора II Ласкариса.

Деспот не спешил. Он приподнял забрало, и Палеолог увидел лицо – широкое, с крупными чертами, с густой чёрной бородой, в которой уже пробивалась седина. Глаза – тяжёлые, изучающие, с прищуром человека, привыкшего взвешивать каждое слово, прежде чем выпустить его на волю. А в темной глубине этих глаз пряталась и время от времени проскакивала какая-то блестящая дьявольская искорка – похожая на уголь, выпавший из костра в сухую траву: маленький, но способный спалить целый мир, если вовремя не затоптать. Эта искорка появлялась в тот самый миг, когда Комнин будто бы слышал что-то, чего другие не слышали, или знал что-то, чего они знать не могли. Она делала его лицо не просто суровым, а почти зловещим – лицом человека, который давно уже заключил сделку с собственной совестью и ни разу об этом не пожалел.

Он смотрел на Палеолога сверху вниз – не только потому, что сидел на коне, а тот стоял на земле. Было в этом взгляде что-то от зрителя зверинца, который оценивает, насколько опасен новый зверь, но при этом совершенно не сомневается в крепости прутьев клетки.

Губы под бородой – тонкие, безжалостные – чуть дрогнули. Не улыбка, нет. Скорее, мышечная память о том, как когда-то, в другой жизни, можно было улыбаться по-настоящему.

Шлем на голове деспота сидел плотно, но было видно, что он тяжёл – в этом шлеме, наверное, неудобно поворачивать шею. Но Комнин и не поворачивал. Он вообще не делал лишних движений. Даже плащ – тёмный, дорогой, но уже запylённый – лежал на его плечах так, будто прирос к ним намертво, как чешуя. И руки, держащие поводья: короткопалые, сильные, с выпирающими венами, – руки человека, который не боится ни меча, ни плуга, ни топора палача.

Палеолог вдруг понял: такого не обманешь громкими словами о никейском могуществе. Такой сам придумает десяток способов проверить, врет ли ему собеседник. И если врет – не

накажет сразу. Будет смотреть вот так, с высоты коня, с этой дьявольской искоркой в глубине зрачков, и ждать, когда вранье само развяжется узлом у тебя на горле.

– А я думал, – голос деспота оказался низким, раскатистым, похожим на рык старого льва, – что император Феодор пришлёт ко мне посла с цветами и подарками, а не наёмного убийцу с мечом, покрытым кровью моих людей.

– Твои люди напали первыми, – спокойно ответил Палеолог. Он был готов к такому повороту. – В горах. Мои воины только защищались.

– В горах, – деспот криво усмехнулся, – мои люди охраняли свои земли от чужаков. – Он повысил голос: – Ты пришёл с войском, хотя василевс не объявлял мне войны!

– А я и не воюю, – Палеолог развёл руками. – Я выполняю приказ. И приказ таков: убедить, что Эпир помнит о своей верности ромейской короне. Твой предшественник, Михаил I Комнин Дука, признавал власть Nikei. Твой брат Феодор, да упокоит Господь его душу, опрометчиво короновался императором всех римлян, но заплатил за это слепотой. Ты же, деспот, до сих пор не дал никакой клятвы.

Тяжёлое молчание повисло над полем. Свита деспота зашевелилась, руки скользнули к рукояткам мечей. Люди Палеолога тоже напряглись, готовые в любой миг схватиться за оружие.

Но деспот вдруг рассмеялся – громко, неестественно, словно пытался разрядить обстановку.

– Смелый у тебя язык, никейский пёс, – сказал он, когда смех угас. – За такие слова в моей столице Арте отрезают язык и скормливают его свиньям.

– За такие слова в Константинополе, – Палеолог не опустил глаз, – целуют императорскую туфлю. Но мы не в Константинополе, и ты не василевс.

Деспот сжал поводья так, что побелели костяшки пальцев. На миг Палеологу показалось, что сейчас последует приказ атаковать – и его маленький отряд будет изрублен в куски прямо здесь, под стенами города.

Но вместо этого деспот произнёс:

– Ты не похож на посла, Палеолог. Ты похож на человека, которому нечего терять.

– Мне есть что терять, – ответил Михаил, и голос его вдруг стал тише, доверительнее. – Но я давно понял, что бояться потери – значит уже потерять.

Деспот долго смотрел на него, затем кивнул:

– Будь по-твоему. Я дам клятву верности Феодору Ласкарису. Но не здесь и не сейчас. Приезжай в Арту через три дня. Я устраю пир в твою честь. А пока – убирайся из моего поля. Твои костры коптят и портят воздух, и мои пастухи жалуются, что овцы не могут спокойно спать.

Он развернул коня и, не прощаясь, усакал в сопровождении свиты. Палеолог остался стоять, глядя ему вслед.

– Он не будет давать никакой клятвы, – прошептал Каллиакис, подходя ближе. – Он просто тянет время.

– Знаю, – ответил Михаил. В глубине его глаз тоже проскальзывали искорки – и тоже почти дьявольские. – Но время – единственное, чего у меня в избытке.

Глава 5. Пир во время чумы

Пир в Арте оказался именно тем, чего опасался Палеолог: хитроумной ловушкой, затянутой драгоценным шёлком и обставленной тяжелыми серебряными блюдами. Деспот Михаил принял его в своём дворце – здании, которое сильно уступало знаменитым константинопольским постройкам, но всё же выглядело внушительно для провинциального Эпира. Мраморные колонны были грубоватой работы, фрески на стенах изображали не библейские сцены, как следовало ожидать, а охоту – диких кабанов, оленей, растерзанных собаками.

– Я человек простой, – заметил деспот, перехватив взгляд Палеолога. – Не люблю всю эту святость. Мне нравится, когда кровь течёт на охоте, и слышится лай охотничьих псов, а не когда священники поют псалмы.

– Вкусы у всех разные, – дипломатично ответил Михаил, садясь на указанное место – почётное, но не слишком: чуть поодаль от деспота, среди его приближённых.

Гостей собралось много – человек пятьдесят, не меньше. Военачальники, местные архонты, несколько священников с жирными лицами и ещё более жирными руками, которыми они уже тянулись к яствам. Вино лилось рекой, слуги сновали с блюдами, на которых дымилось мясо – баранина, козлятина, кабанятина, зажаренная с травами и острыми местными приправами, названий которых Палеолог не знал.

– Ешь, – пододвинул к нему блюдо деспот. – Не стесняйся. В Никее, говорят, голодно. У нас – нет. У нас реки полны рыбой, леса – дичью, а женщины —...

Он не договорил, многозначительно усмехнувшись.

Палеолог ел, но почти не пил. Вино он всякий раз отодвигал в сторону, делая вид, что пригубляет, и незаметно выплёскивая на пол под стол. Каллиакис, сидевший рядом, последовал его примеру, хотя глаза турмарха то и дело с тоской поглядывали на полные чаши.

– Ты не пьёшь, военачальник? – спросил один из эфирских архонтов, толстый мужчина с красным лицом. – Обижаешь хозяина.

Палеолог смерил его взглядом.

– Я пью, когда побеждаю, – ответил Палеолог. – А пока войны не выиграны, вино только мешает.

Архонт не понял, обиделся или сделал вид, что не расслышал, но отстал.

После третьего блюда, когда гости уже изрядно захмелели и разговоры стали громче и откровеннее, деспот подал знак. Музыка смолкла. Слуги убрали остатки яств. В зал вошли танцовщицы – полуголые девушки с бубнами и звенящими золотыми цепочками на бёдрах.

– Тебе нравятся такие зрелища, Палеолог? – спросил деспот, не глядя на него.

– Я предпочитаю смотреть на врага, – ответил Михаил. – Врага видно лучше.

Деспот резко повернулся к нему. В глазах его плясали недобрые огоньки.

– А кто твой враг, военачальник? Эпироты? Татары? Или, может быть, сам василевс?

Вопрос повис в воздухе, как удар плети. Несколько гостей, услышав его, поперхнулись вином. Музыканты замерли, не зная, продолжать играть или бросить инструменты.

– Мой враг, – медленно произнёс Палеолог, – тот, кто не желает Римской империи величия. А таких, как известно, много. И среди татар, и среди эпиротов, и даже среди никейцев.

– Хороший ответ, – деспот откинулся на спинку кресла. – Дипломатичный. – Он пожевал губами: – Я бы даже сказал – слишком дипломатичный для воина.

– Война – это продолжение дипломатии, – пожал плечами Михаил. – Так говорили древние.

– Древние много чего говорили, – деспот махнул рукой, и танцовщицы, поняв жест, начали кружиться быстрее. – Но древние не знали, каково это – сидеть на троне, когда вокруг

одни волки. Ты знаешь, Палеолог? Ты ведь тоже из императорского рода. Ты тоже мог бы... претендовать на большее.

Сердце Михаила ёкнуло. Ловушка захлопывалась.

– Я присягнул василевсу Феодору, – твёрдо сказал он громким голосом – так, чтобы слышали все. – И не претендую ни на что, кроме того, что мне положено по праву рождения и службы.

– По праву рождения, – деспот усмехнулся, и в этой усмешке было что-то змеиное. – А что тебе положено по праву рождения, Палеолог? Корона? Или плаха?

В зале воцарилась тишина. Даже танцовщицы замерли, почуяв неладное.

– Деспот, – подал голос Каллиакис, неожиданно набравшись смелости, – Михаил Палеолог прибыл к тебе с добрыми намерениями. Зачем ты испытываешь его?

– Испытываю? – деспот притворно удивился. – Я просто беседую. Разве нельзя поговорить с гостем по душам?

Он поднялся, и все присутствующие тут же вскочили со своих мест – так требовал этикет.

– Но раз мой гость такой неразговорчивый, – продолжил деспот, – я не буду его мучить. Завтра утром мы обсудим условия клятвы. А пока – отдыхайте. Вам отвели особые покои, предназначенные для самых дорогих гостей.

Он хлопнул в ладоши, и слуги с факелами проводили Палеолога и его спутников из зала. Палеолог заметил, что танцовщицы сразу исчезли – словно их ветром сдуло. Этим девушкам с золотыми цепочками, так соблазнительно обвивавшими их бедра, явно предназначалась какая-то роль – но только он не мог определить, какая именно.

Палеолог краем глаза успел уловить, как одна из них, та, что была выше других, с длинной косой с каштановым отливом, перекинутой через плечо, бросила на него быстрый взгляд – не прощальный, нет, скорее, изучающий. Так смотрят на человека, чьё имя уже вписано в список, но ещё не зачёркнуто. В следующее мгновение все они скользнули за резную дверь в северной стене – бесшумно, словно тени, хотя золотые цепочки при движении должны были звенеть. Но не зазвенели.

«Они прекрасно обучены, – понял Палеолог. – И им платят не только за танец».

Он вспомнил их руки – мягкие, с длинными пальцами, без мозолей. Не лучниц, не мечниц. Но кто сказал, что оружие должно быть из железа? Ласковое слово, поданное вовремя кубок с вином, случайно оброненное в разговоре имя – всё это иногда пробивает стены крепче тарана.

Он подумал о том, что эти женщины, наверное, не раз появлялись в покоях чужих властителей – как подарки, как послы, как награда. А наутро те властители просыпались с тяжёлой головой и странной уверенностью, что договориться с Эпиром – это и в самом деле выгодно. Или, наоборот, просыпались с кинжалом в груди – если ласковое слово не срабатывало.

По широкой мраморной лестнице, ведущей во внутренний двор, Палеолог спускался в тяжёлом молчании. Стук его собственных сапог казался слишком громким – почти неприличным после той тишины, с которой исчезли танцовщицы. Где-то за стеной, в дворцовой конюшне, тихо заржала лошадь. Ночь стояла влажная, звёздная, но Палеолог не поднял головы к звёздам – он смотрел под ноги, механически переставляя их со ступени на ступень, и думал.

«Если они уже знают, кто я, – то знают и то, что у меня нет второго отряда. И тогда их роль...»

Он не договорил. Спутники шли следом – Ливадарий, ещё несколько воинов; все хмурые, растерянные. Им тоже не понравились танцовщицы. Им тоже показалось странным, как легко и быстро те исчезли, едва деспот хлопнул в ладоши.

У выхода, под аркой, стоял старый слуга с фонарём. Лицо у него было такое, словно он ничего не видел и не слышал – идеальная маска придворной пустоты. Но Палеолог заметил, как его пальцы, держащие фонарь, чуть заметно дрожат. И понял, что старик знает больше,

чем говорит. И что танцовщицы сейчас, вероятно, уже докладывают кому-то о каждом жесте, каждом взгляде никейского гостя.

«Мы здесь как рыбы в садке, – подумал Палеолог, вдыхая сырой ночной воздух. – И золотые цепочки на бёдрах – это не украшение. Это сети. Только не железные, а шёлковые. Из таких не вырвешься».

Когда они остались одни в отведённых им комнатах – маленьких, душных, с зарешеченными окнами, – Каллиакис прошептал, тревожно оглядываясь по сторонам:

– Это ловушка, господин. Он не отпустит нас живыми.

– Возможно, – равнодушно ответил Палеолог, усаживаясь на жёсткое ложе – хотя и покрытое дорогими шелковыми простынями, окрашенными в ярко-голубой цвет при помощи квасцов – основного источника богатства Эпира и его главного экспортного товара, за который они долгие годы сражались с венецианцами и генуэзцами. – Возможно, он нас убьёт. Но не сегодня. Сегодня ему нужно что-то другое.

– Что же? – Глаза Георгия Каллиакиса округлились

– Время, – повторил Палеолог свою любимую мысль. – Оно нужно ему точно так же, как и мне. – Его глаза сузились: – И посмотрим, чьё время пробежит быстрее.

Глава 6. Клятва, которой не было

Деспот Михаил II Комнин Дука оказался мастером откладывать неизбежное. Утро следующего дня не принесло никаких переговоров – деспот, как доложили слуги, «почувствовал недомогание» и не мог принимать гостей. Вместо этого Палеологу предложили осмотреть Арту – её укрепления, рынок, увенчанный большим куполом собор Святого Димитрия, где монахи с подозрением косились на никейских воинов.

– Он тянет время, – в который уже раз прошептал Каллиакис, когда они стояли у соборных дверей, разглядывая мозаику, изображающую Страшный суд. – Зачем?

– Может быть, ждёт подкрепления, – ответил Палеолог, хотя сам не верил в это. Эпир был слишком слаб, чтобы открыто воевать с Никеей – даже с такой жалкой никейской армией, какая была у него. – А может быть, ждёт, что я сам совершу ошибку.

– Какую?

– Например, попытаюсь бежать. Или убью кого-нибудь из его людей. – Палеолог задумался и проронил: – Или выпью его отравленное вино.

Каллиакис побледнел:

– Отравленное? Вы думаете, он...

– Я ничего не думаю, – оборвал его Палеолог. – Я просто предполагаю. И поэтому не пью.

Однако на третий день деспот всё же объявился – с новым лицом, новыми улыбками и новыми обещаниями.

– Прости, военачальник, – сказал он, пожимая Палеологу руку с такой силой, словно хотел раздавить кости, – нездоровье проклятое. Старость, знаешь ли.

– Тебе ведь нет ещё пятидесяти? – приподнял бровь Михаил.

– Пятьдесят – это уже старость, – деспот вздохнул. – Для правителя.

Они уселись в тронном зале – на этот раз без пиров, без музыки, только несколько советников деспота и писцов, записывавших на пергаменте каждое слово.

– Итак, – начал деспот, – чего именно хочет василевс?

– Верности, – ответил Палеолог. – Клятвы, что Эпир не будет поднимать мятежей, не будет воевать против Никеи. И не будет заключать союзов с латинянами без ведома василевса.

Деспот откинулся на спинку своего позолоченного трона.

– А что получит Эпир взамен?

– Мир. Безопасность. Право торговать с никейскими городами без ограничений.

Деспот расхохотался:

– Торговать? Чем? Оливками и овцами? Это все, что у нас есть! Нет, это не торговля, это считай что нищенство.

– Лучше нищенство, чем война, – заметил Палеолог.

– Для кого? – деспот подался вперёд, и его лицо вдруг стало жёстким, почти жестоким. – Для Никеи, которая сидит за своими стенами и боится высунуть нос? Или для Эпира, который тридцать лет отбивается от всех – от латинян, от болгар, от татар, от вас?

– От нас – в последнюю очередь, – возразил Михаил. – Василевс Иоанн, отец Феодора, не воевал с Эпиром. Он предлагал союз. И вначале добился его.

– Союз исключительно на условиях Никейской империи, – фыркнул деспот. – Это не союз, это капитуляция.

Разговор затянулся на несколько часов. Писец исписал целый свиток, но к соглашению они так и не пришли. Деспот требовал автономии, права чеканить собственную монету (свое имя на аверсе, а не лик василевса), права принимать послов от других государств. Палеолог,

имевший инструкции от Феодора – весьма, к слову, расплывчатые – не мог при этом уступить ни в одном пункте.

– Ты упрям, как мул, – наконец бросил деспот, откидываясь на спинку трона.

– А ты хитер, как лис, – ответил Палеолог. Он сделал изящный жест: – Но мул и лис могут договориться, если обоим нужна одна и та же трава.

Деспот снова рассмеялся – на этот раз без надрыва, почти искренне.

– Ладно, – сказал он. – Уговорил. Я дам клятву. Но не сегодня. Сегодня – отдыхай. Завтра – устроим торжественную церемонию.

Завтра. Опять и опять он слышал это слово. Палеолог начал терять терпение.

Но непроницаемое лицо деспота Михаила Комнина не давало надежду на то, что он изменит свою позицию.

А никаких козырных карт на руках у Палеолога не было.

– Проклятый деспот Михаил, – вполголоса пожаловался он Каллиакису вечером, – он похож на рыбака, который закинул удочку и ждёт, когда клюнет. И готов ждать хоть целую вечность

– В конце концов, он не наш повелитель. Не ваш и не мой, – буркнул Каллиакис. – И вообще, господин, может быть, нам стоит... уехать? Пока не поздно?

– Уехать? – Палеолог усмехнулся. – И что я скажу Феодору Ласкарису? «Я испугался и вернулся»? Нет, Каллиакис. Мы останемся. И мы получим эту клятву. – Он сжал кулаки. – А если не получим, то я лично отрублю голову деспоту и привезу её василевсу в подарок.

Каллиакис перекрестился – широко, размашисто, как делают простые люди, когда слышат нечто, внушающее им священный ужас.

– Ты считаешь меня безумцем? – Палеолог остановился, повернулся к собеседнику. Луна светила прямо в лицо, делая его бледным, почти восковым. – Я знаю, что говорю. Деспот испытывает нас. Он ищет нашу слабость. Нашу нужду. Наши недостатки. Если мы покажем, что боимся уехать – он никогда не даст клятву. Если мы покажем, что готовы умереть – он задумается. А пока он думает – мы живем.

– А если он не задумается? – тихо спросил Каллиакис.

– Тогда, – Палеолог помолчал, и в голосе его вдруг проступила та самая тяжелая, горькая усмешка, от которой у Каллиакиса заledenели пальцы, – тогда ты был прав, и нам действительно стоило уехать. Но сейчас, когда мы здесь, назад дороги нет. Ты понимаешь? Нет.

Он шагнул вперед, к колодцу посреди внутреннего двора, зачерпнул пригоршню воды, выпил. Вода была холодная, с привкусом извести – такая же чужая, как и всё вокруг.

– Почему ты перекрестился, Каллиакис? – спросил он, не оборачиваясь.

– Потому что вы, господин, произнесли имя василевса и клятву на крови в одной фразе, – ответил тот глухо. – И потому что я впервые слышу, чтобы вы говорили с такой... такой ненавистью. Не к врагу. К чужому человеку, который просто делает свое дело. Как и вы.

Палеолог медленно повернул голову. Глаза его блеснули в темноте по-волчьи – холодно, пусто, без той человеческой теплоты, что еще теплилась в них днем, когда они только вошли в Арту.

– Его дело, – сказал он, – это сидеть в своей норе и ждать, пока мы издохнем от страха. Мое дело – не дать ему этого сделать. Если для этого придется отрубить ему голову – я отрублю. Даже если это будет стоить мне собственной. Ты понял меня?

– Понял, – сказал Каллиакис. И больше не проронил ни слова.

Ночь стояла темная, безветренная. Где-то далеко, над стенами Арты, медленно плыла луна, круглая, как золотая цепочка с бедра танцовщицы. И такая же холодная.

Глава 7. Ночь в Арте

Ночь выдалась беспокойной. Палеолог не спал – ворочался на жёсткой постели, считал удары сердца, прислушивался к шорохам за дверью. Ему казалось, что кто-то крадётся по коридору, замирает, дышит в замочную скважину. Но всякий раз, когда он вскакивал и хватался за меч, тишина восстанавливалась, и лишь ветер гулял по пустым переходам.

Около полуночи в дверь постучали – три коротких удара, потом два длинных.

– Войдите, – приказал Палеолог, садясь на постели и натягивая кольчугу прямо на голое тело.

Вошел человек, которого Михаил не узнал сначала – невысокий, сутулый, в тёмном плаще с капюшоном, скрывавшим лицо. Но когда незнакомец откинул капюшон, Палеолог увидел старого священника – того самого, что первым пришел в его лагерь под Артой.

– Ты? – удивился Михаил. – Что тебе нужно в такой час?

– Тише, – священник приложил палец к губам и оглянулся на дверь. – Тише, господин. Меня прислали те, кто хочет тебе добра.

– Кто эти люди? – Палеолог не выпускал из рук меч.

– Те, кто устал от деспота. Кто помнит, что Эпир – часть великой древней империи. Кто хочет, чтобы римский орел снова парил над этими землями.

Михаил прищурился:

– Ты говоришь загадками, святой отец. Говори прямо.

Священник подошёл ближе, и в свете масляной лампы Палеолог увидел его глаза – не старческие, выцветшие, как несколько дней назад, а неожиданно острые, цепкие, молодые.

– Деспот не даст клятвы, – прошептал священник. – Он готовится напасть на тебя. Его согласие на подписание договора – ловушка. Завтра, во время торжественной церемонии, его люди перережут твоих воинов, а тебя возьмут в плен. И отправят в Константинополь, к латинянам, как дорогой подарок. И залог будущего союза Эпира с Латинской империей. Чтобы не стать частью Византии, деспот решил пойти на союз с латинскими дьяволами.

Палеолог почувствовал, как кровь отливает от лица.

– Откуда ты знаешь?

– Я исповедую его советников, – усмехнулся священник. – Люди на исповеди говорят правду. Даже такую, которая может стоить им жизни.

– Зачем ты мне это говоришь?

– Потому что я ромей, – просто ответил священник. – И потому, что деспот забыл, кому он обязан своим тронem. Наш предок, Михаил I, признавал власть Никеи. И мы, его верные потомки, хотим, чтобы так было и дальше.

Он достал из-под рясы свёрток – пергамент, скреплённый тремя печатями.

– Вот. Клятва деспота. Уже подписанная. И скреплённая печатью. Осталось только объявить о ней принародно.

Палеолог взял пергамент, развернул. Да, это была та самая клятва, которую он требовал от Комнина накануне – признание верховной власти Феодора Ласкариса, отказ от самостоятельной внешней политики, обязательство не воевать с Никеей. И внизу – подпись деспота, не слишком разборчивая, но, судя по всему, подлинная.

– Как тебе удалось? – выдохнул Михаил.

– У деспота есть младший брат, Иоанн, – сказал священник. – Он давно мечтает занять место Михаила. И он подписал эту клятву от имени старшего брата. Печать – настоящая. Деспот никогда её не прячет, слишком самоуверен. А Иоанн... Иоанн знает, где она лежит.

Палеолог молчал, переваривая услышанное.

– Завтра, – продолжил священник, – когда деспот прикажет напасть, ты предъявишь эту грамоту. Его люди увидят подпись и печать. Они не посмеют ослушаться. Деспот окажется в западне – если он нарушит собственную клятву, он будет проклят церковью. А в Эпире это что-то да значит.

– А если он всё же нападёт на меня? Обвинит во лжи, в клятвопреступлении – и нападет?

В помещении воцарилась тишина. Михаил Палеолог явственно слышал собственное дыхание – и глухой стук своего сердца.

– Тогда ты умрёшь, – пожал плечами священник. – Но умрёшь с оружием в руках, как воин. А не в темнице, как пленник.

Священник развернулся и ушёл так же тихо, как и пришёл. Палеолог остался один, сжимая в руке пергамент.

«Вот она, цена власти, – подумал он. – Предательство. Подлог. Игра чужими жизнями. И я играю в эту игру, потому что выбора нет».

Он не спал до утра. А когда рассвело, надел парадные доспехи, повесил на пояс меч и спрятал за пазуху клятву, скреплённую украденной печатью.

Сегодня решалась его судьба. И судьба Эпира. И, возможно, судьба всей Римской империи.

Утро выдалось хмурым, словно сама природа предчувствовала кровь. Тяжёлые тучи нависли над Артой, закрывая солнце, и редкие капли дождя барабанили по каменным плитам двора перед дворцом деспота. Палеолог, в парадных доспехах, с мечом на боку и пергаментом за пазухой, стоял в окружении своих воинов – их осталось всего сорок семь из прежних ста двадцати. Горы, стычки, болезни и дезертирство сделали своё дело.

– Бледный ты какой-то, господин, – заметил фракиец с обрубленным ухом, которого люди прозвали Ухорван. – Ночь не спал?

– Спал, – соврал Палеолог. – Но сны были плохие.

– Плохие сны – к хорошему дню, – философски заметил Ухорван и сплюнул сквозь зубы. – Моя бабка всегда так говорила.

Двор постепенно заполнялся народом. Архонты, священники, купцы, простые горожане, которым разрешили посмотреть на церемонию – деспот хотел, чтобы его величие видели все. В глубине двора, на возвышении, стоял деревянный дубовый трон, покрытый пурпурной тканью – дешёвое подражание константинопольскому величию, но для Эпира и такое сходило за роскошь.

Деспот Михаил II Комнин Дука появился с опозданием – больше чем на час. Он был облачён в расшитый золотом далматик, на голове – золотой венец, на шее – тяжёлая цепь с рубинами. Свита его насчитывала не менее сотни вооружённых людей – значительно больше, чем было у Палеолога. И все они, Михаил заметил, имели при себе мечи, а не церемониальные кинжалы.

– Дорогой гость, – деспот распростёр объятия, подходя к Палеологу. – Сегодня великий день. Сегодня Эпир и Никея скрепят свой союз навеки.

– Навеки – долгий срок, – ответил Михаил, пожимая протянутую руку. – Дай Бог, чтобы мы оба его пережили.

Деспот усмехнулся, но глаза его остались холодными. Ледяными.

Церемония началась по всем правилам. Священники пропели псалмы, дьяк зачитал длинное вступление о единстве ромейского народа, об общей вере, об общей судьбе. Палеолог слушал вполуха, ощущая, как пергамент жжёт грудь через ткань хитона. Где-то на середине чтения он заметил движение в толпе – два десятка вооружённых людей деспота незаметно перекрыли выход со двора. Другие рассредоточились вдоль стен, заняв места лучников.

Ловушка захлопывалась.

– А теперь, – провозгласил деспот, когда чтение закончилось, – я, Михаил Комнин Дука, деспот Эпира, перед лицом Господа и этих свидетелей приношу клятву верности...

Он не договорил. Палеолог шагнул вперёд и вытащил пергамент.

– Не надо клясться, деспот, – громко сказал он, так чтобы слышали все. – Ты уже дал клятву. Три дня назад. Своей подписью и своей печатью.

Деспот замер. В его глазах мелькнуло недоумение, затем удивление, затем – ярость.

– Что ты несёшь, никейский пёс? – прошипел он. – Я ничего не подписывал.

– А это? – Палеолог развернул пергамент, показывая его сначала деспоту, затем толпе. – Это разве не твоя подпись? Не твоя печать?

Деспот побледнел. Он узнал печать. Он узнал даже подпись – искусно подделанную, но настолько похожую, что отличить мог только он сам. Но толпа не знала почерка деспота. Толпа видела печать – священную, неприкосновенную. И подпись красными чернилами, скрепляющую волю владыки.

– Это... это подлог! – закричал деспот. – Кто-то украл мою печать! Стража! Взять его!

Стража двинулась вперёд, но Палеолог не отступил.

– Подлог? – переспросил он, повышая голос. – А может быть, ты просто хочешь нарушить клятву, деспот? Которую ты уже начал произносить здесь перед всеми? Может быть, ты – клятвопреступник, который не боится ни Бога, ни людей?

В толпе зашумели. Клятвопреступление – страшное обвинение для христианского правителя. Даже самые верные сторонники деспота заколебались.

– Я не клятвопреступник! – взревел деспот, хватаясь за меч. – Это ты – лжец, Палеолог! Ты пришёл погубить Эпир! Ты – пёс Ласкариса, который хочет отнять нашу свободу!

– Свободу? – усмехнулся Михаил. – Какую свободу, деспот? Свободу грабить своих же крестьян? Свободу воевать с болгарами, которые вас же и разбили в пух и прах при Клокотнице? Свободу гнить в забвении, вне веры наших предков, пока латиняне правят в Константинополе?

Деспот выхватил меч.

– Заткнись! – заорал он. – Заткнись, или я...

– Или ты что? – Палеолог тоже обнажил клинок. – Убьёшь меня? Убей. Но знай: убивая посла, ты убиваешь последний шанс Эпира на мир с Никеей. Василевс Феодор никогда не простит тебе этого!

На секунду воцарилась тишина. Все смотрели на двух мужчин – деспота в золоте и пурпуре, и никейского военачальника в поношенных тусклых доспехах. А потом кто-то из толпы крикнул:

– Печать! На пергаменте печать! Деспот поклялся!

– Поклялся! – подхватил другой.

– Клятву дал – выполняй!

Деспот заметался. Он понимал, что если сейчас отдаст приказ атаковать, часть его людей не подчинится – слишком велик грех клятвопреступления. Но если он уступит, то потеряет лицо перед всей Артой.

Он выбрал третье – безумное, жестокое, непоправимое.

– Рубите всех! – заорал он. – Всех никейцев! Никого не щадить!

Глава 8. Кровь во дворе

Первый удар пришёлся на Ухорвана. Копьеносец деспота, здоровенный детина с лицом, сильно изъеденным оспой, вонзил копьё фракийцу прямо в живот – так глубоко, что остриё вышло из спины. Ухорван охнул, схватился за древко, но не упал – вместо этого он рванулся вперёд, по живому мясу насаживаясь на копьё ещё глубже, и рубанул мечом по голове нападавшего. Копьеносец рухнул с разрубленным черепом, а Ухорван, шатаясь, сделал ещё два шага и осел на колени, заливая камни кровью.

– К бою! – закричал Палеолог, отбивая удар сразу двух мечников. – К бою, братья! За империю! За нашу православную веру!

Сорок семь никейцев против сотни эпиротов – шансов не было. Но шансы вообще редко бывают на стороне правых. Правые просто умирают чуть медленнее, успевая забрать с собой больше врагов.

Палеолог рубился, как одержимый. Его меч из египетской стали пел смертную песню, разрубая кожаные и железные доспехи, ломая кости, разбрызгивая кровь во все стороны. Он не считал убитых – счёт был не для него, счёт вели ангелы, спустившиеся с небес посмотреть на эту бойню. Он просто двигался, уклонялся, парировал и атаковал – снова и снова, пока мышцы не начали гореть огнём, а дыхание не превратилось в хриплый, надсадный кашель.

Рядом бился Каллиакис – тот самый тощий, вечно дрожащий турмарх, который ещё вчера боялся собственной тени. Он дрался отчаянно, не слишком умело, но с такой неподдельной яростью, что враги шарахались от него, принимая за безумца. Кровь текла по его лицу из рассечённой брови, но он не замечал – только выкрикивал какие-то бессвязные проклятия и размахивал мечом, словно смертной косой.

– В круг! – скомандовал Палеолог, заметив, что их оттесняют к стене. – В круг, спиной друг к другу!

Никейцы сомкнулись, образовав живое кольцо. Теперь эпироты не могли зайти с тыла – каждый удар приходился в щиты и мечи, оцетинившиеся во все стороны. Это было единственное, что спасло их от немедленного уничтожения.

– Где деспот? – прохрипел Палеолог, оглядываясь.

Деспот Михаил Комнин исчез. Его не было ни среди сражающихся, ни на возвышении. Трон пустовал, пурпурная ткань валялась на земле, истоптанная сапогами.

– Сбежал, гад, – выдохнул кто-то из никейцев. – Свинья жирная...

– Сбежал или бросился за подмогой, – поправил Палеолог. – Держите строй! Не расступаться!

Бой продолжался ещё четверть часа. Эпироты, лишённые командования, дрались неорганизованно, наскоками, и каждый раз откатывались назад, натываясь на оцетинившийся строй никейцев. Но и ряды никейцев тоже таяли – один за другим падали воины, пронзённые копьями или стрелами, и их места в кругу занимали живые, и круг становился всё меньше, а груда тел вокруг – всё выше.

Палеолог краем глаза заметил священника – того самого, что принёс ему пергамент. Старик стоял у колонны, прижимая к груди крест, и его губы шевелились в безмолвной молитве. Вокруг него кипела битва, но ни один меч не коснулся его – словно сам Господь поставил невидимую стену между ним и безумием.

«Молитесь, святой отец, – подумал Михаил, отбивая очередной удар. – Молитесь – может быть, Господь услышит нас сегодня».

Но Господь сегодня, видимо, был занят более важными делами...

В какой-то момент – Михаил потерял счёт времени – перед ним вырос новый противник – высокий, плечистый, в полном железном доспехе, с большим норманнским мечом, который

он держал обеими руками. Глаза воина смотрели холодно и спокойно – этот ничего не боялся, этот убивал профессионально, без лишних эмоций.

– Я – Торстейн из Уппсалы, – представился он. – Командир шведских наёмников деспота. Ты хорошо дрался, никеец. Но сейчас умрёшь!

Палеолог не ответил – он только крепче сжал рукоять меча.

Они сошлись с такой силой, что искры посыпались из-под клинков. Торстейн был сильнее – это чувствовалось с первых секунд. Каждый его удар заставлял Михаила прогибаться, отступать, искать опору. Норманнский меч гудел в воздухе, как рассерженный пчелиный рой, а египетская сталь Палеолога, хоть и была острее, не могла соперничать с огромной железной массой.

– Слаб, – усмехнулся Торстейн, нанося удар за ударом. – Все вы, никейцы, слабы. Сидите в своей конуре и боитесь высунуть нос. А мы воюем. Мы убиваем.

Он сделал выпад, и Палеолог, не успев уклониться, получил удар по левому плечу. Кольчуга выдержала, но рука онемела – меч едва не выпал из пальцев.

– Ещё один, – прищурился Торстейн, занося меч для последнего удара, – и твоя голова украсит стену деспота.

И в этот момент случилось чудо.

Каллиакис, тот самый тощий, ничтожный Каллиакис, которого Палеолог считал подлым шпионом и трусом, бросился между ними, принимая удар на себя. Норманнский меч вошёл ему в бок – глубоко, по самую рукоять. Каллиакис вскрикнул – тонко, по-детски – и рухнул на камни, обливаясь кровью.

Но это мгновение оказалось решающим. Торстейн, отвлёкшись, оставил открытой шею – и Палеолог не упустил шанса. Его меч, описав короткую дугу, вонзился точно в незащищённое горло наёмника из далекой Швеции.

Торстейн захрипел, инстинктивно схватился за рану, выронил свой огромный меч и рухнул на колени. Кровь хлестала из перерубленной сонной артерии, заливая доспехи, камни, лицо Палеолога. Через несколько секунд командир наёмников замер, скорчившись, как огромная, сломанная кукла. Вся его сила ушла в небытие – туда, откуда нет возврата.

Смерть Торстейна деморализовала эфиротов. Они отступили – сначала на шаг, потом на десять, потом побежали, бросая оружие и щиты. Никейцы не преследовали – у них не было сил.

Палеолог опустился на колени рядом с Каллиакисом.

– Зачем? – спросил он, глядя в бледное, залитое кровью лицо турмарха. – Зачем ты это сделал?

Каллиакис открыл глаза – мутные, уже почти ничего не видящие.

– Вы... вы не пёс, господин, – прошептал он. – Вы... вы император... настоящий... а я... я просто хотел... чтобы вы знали...

Он не договорил. Глаза его остекленели, голова упала набок.

Палеолог закрыл ему веки. Собственной рукой. Как брату.

Глава 9. Победа ценою в жизнь

Деспота Михаила Комнина нашли в винных погребах дворца – он сидел среди огромных бочек, обняв массивный глиняный кувшин с вином, высотой почти в рост человека, и дрожал крупной, истеричной дрожью. Один из его слуг, тоже укрывшийся в подвале, указал никейцам место, и через десять минут деспот Эпира стоял на коленях перед Палеологом, грязный, мокрый от пролитого вина, без венца и без цепи.

– Не убивай меня, – бормотал он, глядя в пол. – Не убивай, Палеолог. Я сделаю всё, что захочешь. Я подпишу любую клятву. Я признаю власть Ласкариса. Я... я отдам тебе половину казны. Только не убивай!

Палеолог смотрел на него сверху вниз и чувствовал не триумф, а глухую, давящую тоску.

Когда-то этот человек был воином. Когда-то он сражался с латинянами, с болгарами, с албанцами, с собственными братьями. Когда-то он мечтал о величии Эпира. А теперь он сидел в подвале среди винных бочек и просил пощады, как последний трус.

– Встань, – сказал Палеолог. – Я не убиваю безоружных.

Он помог деспоту подняться – тот шатался, не в силах держаться на ногах, и пришлось подхватить его под локоть.

– Ты убил моих людей, – продолжил Михаил, глядя ему прямо в глаза. – Ты пытался убить меня. Ты предал клятву, которую дал – пусть и не по своей воле, но дал. По законам Римской империи, я имею право казнить тебя на месте.

Деспот побледнел ещё сильнее, если такое было возможно.

– Но я не сделаю этого, – сказал Палеолог. – Потому что твоя казнь не вернёт моих воинов. Потому что Эпиру нужен правитель, а не мученик. И потому, что я устал. Устал убивать.

Он отпустил деспота, и тот снова рухнул на колени.

– Ты подпишешь клятву. Прямо сейчас. При свидетелях. Ты передашь Никее три крепости на границе – Бербениак, Хариор и Лентианы. Ты отдашь мне заложников – своего старшего сына Никифора и двенадцать архонтов. И ты выплатишь дань за пять лет – в серебре и золоте, полновесными монетами, без обмана.

Деспот молча кивал, не поднимая глаз.

– И помни, – добавил Палеолог, наклоняясь к самому его уху, – если ты нарушишь хоть одно условие, я вернусь. И в следующий раз я не буду разговаривать. Я привезу с собой огромную армию – не сорок семь воинов, а четыре тысячи. И сотру Эпир с лица земли так, что даже пыли не останется.

– Я понял, – прошептал деспот. – Я всё понял.

Церемония подписания клятвы прошла в пустом зале, без толпы, без музыки, без пира. Только Палеолог, деспот, три высокопоставленных эфирских священника и несколько писцов, которые заносили условия в тяжёлые свитки. Деспот подписал всё, что требовали – даже не читая, даже не глядя.

Когда пергамент был скреплён печатью – настоящей, а не украденной, Палеолог вышел во двор.

Там, где утром кипела жизнь, теперь лежали мёртвые. Сорок семь никейцев стали двадцатью тремя. Ухорван лежал лицом вниз, его меч так и остался зажатым в мёртвой руке. Каллиакис, с его детским лицом и нелепой храбростью, был укрыт чьим-то плащом – кто-то из воинов позаботился о нём, несмотря на усталость и раны.

– Мы победили, господин, – сказал один из оставшихся в живых, подходя к Палеологу. – Вы привели нас к победе.

Палеолог покачал головой.

– Я привёл вас к смерти, – ответил он. – А победили те, кто остался лежать.

Он подошёл к телу Каллиакиса, опустился на колени и снял с шеи турмарха медный крестик – тот самый, что тот всегда носил под доспехами.

– Прощай, Георгий, – тихо сказал Михаил. – Ты был никудышным шпионом. Но хорошим человеком. Наверное, это важнее.

Он поднялся, сунул крестик за пазуху, рядом с пергаментом, и повернулся к воинам.

– Заберите тела убитых, – приказал он. – Мы похороним их здесь, на эпирской земле. Чтобы они помнили, чем мы заплатили за эту победу.

– А как же клятва? – спросил кто-то. – Как же дань, заложники?

– Клятва уже принесена и подтверждена святыми отцами Эпира. Заложников возьмём с собой. Дань деспот пришлёт позже. А если не пришлёт – я, как и обещал, вернусь. – Он помолчал. – Но сначала мы вернёмся в Никею. И я скажу василевсу Феодору, что его поручение выполнено. Эпир снова наш. Ценой в двадцать четыре жизни. И одной души, которую, надеюсь, Господь примет с миром.

Глава 10. Возвращение. Мёд и полынь.

Обратный путь через Пиндские горы был ещё тяжелее, чем дорога туда. Раненые стонали, здоровые тащили на себе убитых – Палеолог отказался оставлять тела в Эпире – они должны были упокоиться на никейской земле. Дожди размыли тропы, и несколько раз пришлось буквально прорубаться сквозь заросли, которые за месяц, пока их не было, сомкнулись плотной колючей стеной, словно не желая выпускать незваных гостей.

Но они шли. Шли, потому что Палеолог шёл впереди. Шли, потому что он обещал – каждому, кто выживет, – земли и награду. Шли, потому что империя, пусть и больная, пусть и раздробленная, стояла того, чтобы за неё умирать.

Когда на горизонте показались стены древней Никеи, один из воинов – совсем молодой, с перевязанной головой – заплакал. Плакал тихо, по-детски, размазывая слёзы по грязным щекам.

– Живы, – прошептал он. – Мы живы, господин.

Палеолог положил руку ему на плечо.

– Живы, – подтвердил он. – Но не забывай тех, кто не вернулся. Они смотрят на нас сейчас с небес. И видят: мы не подвели их.

Город встретил их настороженно. Весть о победе опередила Палеолога – гонцы, посланные вперёд, уже рассказали о битве при Арте, о гибели Каллиакиса, о пленении деспота, о принесении им присяги на верность василевсу и Никейской империи. Но весть была странной, неполной – никто не мог понять, то ли Палеолог герой, заслуживший триумф, то ли авантюрист, едва не погубивший армию.

Поначалу вести из Эпира принесли василевсу Феодору II Ласкарису непривычное, почти забытое ощущение – радость. Не ту тщательно выверенную, демонстративную радость, которую он изображал на приёмах иностранных послов, а живую, искреннюю, почти мальчишескую.

– Эпир наш, – повторял он, расхаживая по своим покоям, и слуги, слышавшие это, шептались, что василевс наконец-то обрёл покой. – Мы вернули Эпир! Мой отец не смог, а я смог!

Он даже приказал выдать Палеологу награду раньше, чем тот вернулся в Никею – десять фунтов золота, парадные доспехи, украшенные серебряной инкрустацией, и почётную грамоту, в которой называл его «вернейшим из верных, столпом империи и мечом ромеев».

Придворные, разумеется, поддакивали. Кто же откажется поддакнуть императору, когда он в хорошем расположении духа? Великий логофет Георгий Акрополит (тогда ещё не министр, а только один из многих советников) рассыпался в комплиментах, превознося военный гений Феодора, который «сумел выбрать правильного человека в правильное время». Протостратор Андроник Каллиакис – дядя того самого Георгия Каллиакиса, что погиб в Эпире, – наливал себе чашу за чашей и пил за здоровье василевса, хотя в глазах его плескалась мутная, тяжёлая печаль по племяннику, которого он считал не героем, а дураком, бросившимся под чужой меч.

Но радость василевса оказалась недолгой, как весенний снег под апрельским солнцем.

Первая трещина появилась, когда Палеолог, вернувшись в Никею, отказался от пышного триумфа, который ему предлагали.

– Зачем мне триумф, государь? – сказал он, стоя перед Феодором в своих запylённых, иссечённых доспехах. – Я не завоевал новых земель. Я только вернул то, что и так принадле-

жало империи. И заплатил за это кровью. Триумф – для побед, а это была не победа. Это было выживание.

Феодор тогда промолчал, но в душе его шевельнулось что-то нехорошее, какое-то смутное подозрение. Почему Палеолог отказывается от славы? Почему не хочет, чтобы народ видел его на колеснице, в лавровом венке, с золотым венцом над головой? Может быть, потому, что он уже считает себя выше таких обычных почестей? Может быть, он метит выше?

– Скромничает, – заметил как-то за ужином Димостенис Скутариот Палеолог – дальний родственник Михаила, которого тот пристроил в столице и помог сделать быструю карьеру, подливая масла в огонь. – Слишком скромничает. Мне это не нравится, государь. – Он помолчал и бросил ядовито: – Человек, который отказывается от награды, либо святой, либо замышляет нечто большее.

– Или просто устал, – поспешно возразил Акрополит, но его голос утонул в хоре голосов, которые дружно подхватили тему.

– А вы слышали, как он разговаривал с василевсом? – шептались в коридорах. – Без страха, без трепета. Как с равным.

– А вы видели его взгляд? Глаза хищника. Так смотрит пантера перед прыжком.

– А вы знаете, что он сделал с деспотом? Заставил того ползать на коленях перед собой. Позорил, унижал, а потом отпустил. Зачем? Чтобы деспот стал его должником. Чтобы в будущем... – И тут следовал многозначительный вздох.

Феодор слушал эти разговоры – слушал, хотя и делал вид, что не придаёт им значения. Но его болезненное воображение, истощённое годами подозрительности и постоянного напряжения, работало без устали. Оно рисовало картины одну страшнее другой: вот Палеолог въезжает в Константинополь (окончательно отвоеванный, разумеется, им же), народ бросает к его ногам цветы, а потом патриарх венчает его на царство... а где в это время Феодор Ласкарис? В могиле. Или в темнице. Или, что ещё хуже, в забвении.

Глава 11. Шёпот в темноте

Решающую роль сыграли люди, которых Палеолог считал если не друзьями, то, по крайней мере, не врагами.

Первым был Никифор Влеммид – учёнейший муж, богослов, философ, наставник самого василевса. Человек, чьё слово значило для Феодора больше, чем донесения всех шпионов вместе взятых. Влеммид не любил Палеолога – не за дела его, а за дух. Слишком воинственный, слишком светский, слишком... живой. В мире, где Влеммид проповедовал аскезу, отречение и молитву, Палеолог казался языческим божеством, ворвавшимся в христианский храм. Но свою нелюбовь к Палеологу он долгое время тщательно скрывал. Ждал новых фактов... новых доказательств. А самое главное – подходящего момента. Ведь в Библии не зря же сказано: «Всеми свое время, и время всякой вещи под солнцем». Когда Палеолог вернулся из Эпира победителем, Влеммид поверил, что момент настал. И теперь все уже решали не месяцы и недели, а дни и часы.

– Государь, – сказал он однажды, придя к Феодору во время болезни василевса – а Феодор болел часто и подолгу – его мучила эпилепсия, которую врачи не умели лечить. – Я слышал странные вещи о твоём военачальнике. Говорят, в Эпире он показывал чудеса. Меч его рубил железо, как бумагу. Стрелы облетали его, как мухи. И люди, которых он вёл в бой, не чувствовали боли, когда их пронзали вражеские стрелы или мечи.

– Что ты хочешь сказать, учитель? – Феодор приподнялся на подушках, его глаза лихо-радочно блеснули.

– А то, государь, – Влеммид перекрестился, – что такие чудеса не от Бога. Бог помогает в молитве, в посте, в смирении. А Палеолог – не из смиренных. – Влеммид выразительно посмотрел на василевса и тихо проронил, почти прошепел: – Может быть, он заключил договор с иным источником силы?

Колдовство! В Римской империи это обвинение было страшнее измены. Изменника можно было покарать – и забыть. Колдуна же следовало не просто казнить – его следовало проклясть, вычеркнуть из памяти, уничтожить все следы его существования, как если бы он никогда не родился.

Феодор побледнел – не от страха, а от злорадной уверенности, что вот она, разгадка. Вот почему Палеолог так удачлив. Вот почему он выжил там, где другие гибли. Вот почему он не боится – потому что его защищают не ангелы, а бесы.

Но Влеммиду он ничего не сказал. Догадку надо было проверить. Потому что слишком уж много последствий она влекла.

Вторым был Сотирих Хониат. Высокий и сильный от рождения, он с двадцати лет записался в армию. Служил сначала мандатором – посыльным в никейской армии, которая пыталась захватить Адрианополь. Во время македонской кампании стал уже протомандатором – старшим посыльным, потом дорос до таксиарха. Но офицерская должность так вскружила ему голову, что Сотирих не удержался, и после осады Гревены, маленького городка на юге Македонии, навьючил своих мулов невероятным количеством разграбленной добычи. Но ему и этого было мало, и он реквизирует в разоренной Гревене две повозки, и тоже доверху набил их добычей и отправил в Никею. То же самое повторилось и при осаде двух следующих македонских городов – Верии и Козани. Жители греческого происхождения, у которых отобрали имущество, принялись жаловаться – и, как бы ни была громоздка и неповоротлива армейская структура, их жалобы в конце концов дошли до тех, кто был обязан по долгу службы разбираться с ними – до турмарха и стратилата. Те недолго думая постановили, что Сотирих Хониат обязан вернуть большую часть награбленного, и срезали ему жалованье. Во время следующих

осад и штурмов македонских городов за Сотирихом уже следил специально приставленный к нему мандатор, чтобы Хониат не позволил себе ничего лишнего. Это было унижительно – и било по карману: Сотирих искренне считал, что он пошел на военную службу для того, чтобы набивать собственную мошну – а не чтобы платить из собственного кармана.

Сотириха стали точить изнутри злоба и ненависть. И во время похода по северной Македонии он не выдержал, и в ходе одного ожесточенного обстрела со стороны албанцев направил свою стрелу не на них, а на таксиарха Иерокла Актуария, который до этого дважды изобличал его.

Но это заметили. Дело дошло до стратилата. Тот постановил разжаловать Сотириха из таксиарха обратно в мандаторы, и еще и наложить на него денежный штраф. Все это настолько распалило Сотириха, что он не выдержал, похитил казну своего полка – бандума – и бежал к султану Кейкавусу в Кони. Сотирих рассчитывал, что там никто и ничто не будет связывать ему руки, и он сможет наконец обогатиться, а потом зажить беззаботной вольготной жизнью.

В Конийском султанате Кейкавуса Сотирих Хониат и познакомился с Михаилом Палеологом. И во время одного из походов на монголов даже служил под его началом. Но это лишь еще больше разожгло зависть и ненависть Сотириха – почему он служит кем-то вроде младшего офицера, а Палеолог – командует им и другими, хотя оба они – всего лишь беглые никейцы?

В итоге Хониат разочаровался и в султана Кейкавусе, и в самой идее службы у иноземцев, и решил вернуться обратно в империю. Добравшись до Никеи, он попытался быстро поправить свое материальное положение, и пообещал одному купцу доставить ему двести амфор оливкового масла по дешевке – якобы у него остались связи в султанате Кейкавуса, где такое масло продавалось чуть ли не даром. Взял у купца аванс – и скрылся с глаз, обосновавшись у одной женщины, которая торговала жареной рыбой в порту. А заодно и своим собственным телом. Впрочем, Хониата это не смущало – теперь его мало что смущало.

Но Сотириху не повезло – купец оказался настырным, не захотел терпеть убытка, тем более от какого-то проходимца, которого увидел первый раз в своей жизни, и нашел Хониата. В жалкий маленький домик торговли рыбой он нагрянул в сопровождении стражников, которым посулил награду, если они помогут ему поймать и наказать мошенника и клятвопреступника Сотириха.

Сотириха бросили в долговую тюрьму. У него был месяц на то, чтобы найти деньги и возместить купцу его потери. Но никаких денег у Сотириха не было – как и возможности их достать. Торговка рыбой тут же отвернулась от него, когда стало ясно, что этот богатый господин – на самом деле нищий, да к тому же мошенник. А купец нанял стражника тюрьмы, чтобы тот каждый день бил Сотириха тростью – чтобы тот поскорее расплатился. Трость причиняла Сотириху страдания, но никак не способствовала тому, чтобы он нашел деньги – ему их просто неоткуда было взять. И тогда доведенный до отчаяния мошенник решил совершить еще одно, намного более грязное мошенничество. Он вспомнил, под чьим началом служил у султана Кейкавуса. Вспомнил все малейшие нелicenseприятные подробности своей службы под командованием Палеолога. А то, что не вспомнил, приукрасил при помощи своей буйной фантазии. И, чтобы придать своим измышлениям флер убедительности, обвинил Михаила Палеолога в... колдовстве.

В долговой тюрьме Никеи, где Сотириха Хониата ежедневно били тростью, он пришёл к простой мысли: деньги у него появятся, только если кто-то могущественный захочет их заплатить. Но кто захочет выкупать из тюрьмы неудачливого вора и мошенника? Только тот, кто боится его молчания больше, чем огласки.

И Сотирих начал действовать как опытный осведомитель. Он попросил свидания с тюремным смотрителем. Когда Сотириха – грязного, оборванного, в лохмотьях и кровавых

ссадинах – притащили к смотрителю тюрьмы и грубо бросили ему под ноги, Сотирих, отдышавшись, заявил:

– Я знаю то, что погубит Михаила Палеолога. Если меня выслушают люди, у которых есть уши и верность василевсу, они поймут: этот полководец – не просто честолобец, но слуга дьявола.

Смотритель тюрьмы помрачнел. Он насмотрелся в своем заведении немало подобного сброда, и знал, что эти мошенники и клятвопреступники готовы пойти на все, лишь бы выкрутиться из той зловонной бездны, в которую провалились. Ради того, чтобы избавиться от мучений и прожить хотя бы один лишний день, они наговорят все, что угодно. Смотритель подал знак надсмотрщику, чтобы тот всыпал хорошенько этому Сотириху, и утащил того обратно в его зловонную камеру, в которой было неуютно даже крысам.

Но Сотирих опередил его:

– Через моего близкого родственника я уже передал сообщение о колдовстве Палеолога в личную канцелярию василевса. Родственник доставит мой донос туда уже сегодня. Но мне бы хотелось, чтобы меня выслушал стратиг Фессалоник. Ему я хочу изложить детали и факты, которые подтвердят, что все, о чем я говорю – подлинная правда.

Смотритель тюрьмы застыл. Сказанное Сотирихом совершенно меняло дело. Если он не врет, и действительно передал донос в канцелярию василевса, то его нельзя трогать. Наоборот, его надо даже охранять! Ведь василевсу точно не понравится, если что-то случится с человеком, который готов свидетельствовать о колдовстве против его священной особы. И встречу со стратигом Фессалоник, Полидевком Синкеллом, надо устроить как можно скорее.

Впрочем, когда смотритель тюрьмы добрался до роскошного беломраморного дворца стратига, и доложил о происшествии во временной его попечению тюрьме, Полидевк Синкелл посмотрел на него так, как смотрят на вошь – грязную ничтожную вошь, которую только и следует что раздавить большим пальцем:

– Этим делом займется чиновник моей канцелярии. А сейчас проваливай!

И он посмотрел на смотрителя так, что тот исчез быстрее, чем исчезают капельки воды на раскаленной сковородке.

Чиновник канцелярии стратига не стал вызывать Сотириха Хониата к себе, а пришел в его маленькую грязную камеру, где Сотирих скрючился на охапке вонючей соломы. Острые, глубоко посаженные глаза чиновника внимательно оглядели внутренности камеры, потом сфокусировались на лице Сотириха.

– Я слушаю. Говори все, что знаешь. – Тон чиновника был безразличным – но внимательный слушатель мог бы различить в нем нотки тщательно скрытой брезгливости.

Однако если чиновник рассчитывал смутить Сотириха, или вывести его из равновесия, то он просчитался – Сотирих был готов к расспросам и собирался выложить все, что в его воображении успело сложиться в стройную и предельно зловещую картину.

– Я служил под началом этого архонта, Михаила Палеолога, в Конийском султанате владыки Кейкавуса, – мрачно начал он. – Мы обе сбежали из Никейской империи – каждый по своим причинам. Но если я с первого же дня осознал страшную ошибку, которую совершил, и делал все, чтобы только вернуться обратно, то Палеолог вел себя иначе. Его служба у султана Кейкавуса была не просто наёмничеством.

– А чем же? – лениво поинтересовался чиновник. – Он что, собирал сведения о продавцах “почти бесплатного” оливкового масла, чтобы потом предложить его никейским купцам?

Сотирих скрипнул от досады зубами. Этот хлыщ, этот проклятый чиновник из канцелярии стратига был вовсе не так прост! Похоже, что всем этим мерзавцам, что сидели на службе в беломраморном дворце стратига, не просто так платили повышенное жалованье! «С ним надо

держат ухо остро», – мрачно подумал про себя Сотирих Хониат. Но отступать ему было уже некуда...

Сотирих изобразил на своем грязном лице усмешку:

– Если он и интересовался маслом, то исключительно с магическими целями. – Он посмотрел чиновнику прямо в глаза: – Дело в том, что Михаил Палеолог, находясь в Кони, вступил в тайный союз с персидскими магами. Я сам видел это. А сделал он это потому, что...

– Сотирих выдержал эффектную паузу и бросил прямо в лицо собеседнику: – ...что искал способ обрести верховную власть. Но не военным путём, не как удачливый военачальник или полководец – а через «гоетию», вызывание демонов.

– Через вызывание демонов, – словно механизм, повторил чиновник. – Ты видел это, Сотирих? Ты видел демонов?

– Почему вы об этом спрашиваете? – окрылся Сотирих Хониат – в то время, как его мозг лихорадочно соображал.

– Но ты же сказал – «я сам видел это». Вот я и спрашиваю, – бесстрастно проговорил чиновник.

Сотирих задумался. Точнее, сделал вид.

– Нет, самих демонов я не видел, – протяжно произнес он. – Но однажды под стенами крепости, где мы стояли лагерем против монголов, Палеолог отлучился в степь вместе с каким-то безбородым старцем в чёрной повязке на голове. Я, движимый подозрением, проследил за ним. Ночь была лунная, и все было хорошо видно. Они начертили круг, крысиными кишками соединили его с трупом сокола, и старец что-то зашептал на варварском наречии. Наутро Палеолог вернулся в лагерь и сказал, чтобы мы готовились к битве. Но он был очень веселым и довольным и сказал, что битва будет легкой для нас. Ему никто не поверил – думали, что он просто подбадривает нас, хотя монголов было очень много, и мало кто надеялся выйти из этой битвы живым. Но в тот же день монгольский отряд, который должен был нас уничтожить, внезапно рассыпался и бежал – хотя не было ни ветра, ни другой причины. И мы даже не успели изготавиться к битве и встать в строй, чтобы пойти против него. – Он сделал красноречивый жест рукой в воздухе: – Что это, как не колдовство?

Чиновник пожевал губами:

– Да, что-то есть похожее. – Он смерил взглядом Сотириха. – Хорошо, я доложу своему начальнику. Он распорядится, что делать с тобой.

Поздно вечером в камеру к Сотириху вбежал смотритель тюрьмы с двумя стражниками.

– Собирайся! – Нагнувшись к Сотириху, смотритель дернул его за руку. – Сейчас тебя отвезут в императорскую канцелярию. Смотри, веди себя там правильно, и честно отвечай на все вопросы, которые тебе зададут! Без малейшей утайки!

Сотирих с презрением посмотрел на него и подумал: «Я уж сам разберусь, как вести себя! Не твоего собачьего ума дело, презренный выродок!»

Но вслух он ничего не сказал – собачиться со смотрителем тюрьмы было еще рано. Может быть, он сделает это когда-нибудь потом – когда его план сработает. И он получит и свободу, и деньги, и хорошую должность. Что-то подсказывало Сотириху, что все будет именно так.

Хониата вывели на улицу. Он поежился от пронзительного ветра и от свежего воздуха – в отличие от тюрьмы, на улице не пахло гнилой соломой и не воняло человеческими испражнениями и крысиным пометом.

Стражники посадили его в скрипучую деревянную повозку. Один из них накинуд на голову Хониата плотную рогожу, с силой ткнул его в бок:

– Не высовывайся! И не глазей по сторонам! Никто не должен видеть тебя – и ты тоже не должен ничего видеть. Понял, дурень?

«Мы еще поглядим, кто окажется дурнем, а у кого голова работает дай Боже!» – мстительно подумал Сотирих.

Повозка тронулась. Дорога была неровной, и Сотириха постоянно подбрасывало вверх – после чего он падал вниз, и доски повозки больно вбивались ему то в бок, то в правое колено. Но он стоически молчал, не подавал голоса. Он понимал, что сейчас будет решаться его судьба. В самом прямом смысле этого слова.

Примерно через полчаса повозка остановилась. Сотириха Хониата грубо выдернули за плечо, мешковина сползла с головы, и он, прищурившись, увидел не беломраморный дворец, какой он ожидал, а массивные, окованные полосками ржавого железа ворота в глухой стене из тёсаного камня. Никакой парадности. Только запах сырости, старой кожи и дерева от ближайших солдатских казарм и – чуть дальше – ладана из дворцовой часовни.

– Где мы? – сипло спросил Сотирих.

Стражник вместо ответа толкнул его в спину. Ворота открылись без скрипа – их явно часто смазывали, чтобы никто снаружи не слышал, кто входит и выходит.

Внутренний двор оказался тесным, вымощенным серыми плитами, кое-где проросшими мхом. По периметру тянулись узкие окна-бойницы с решётками. Ни фонтанов, ни мраморных львов, ни пёстрых мозаик – только голый служебный двор императорской канцелярии. Сотирих понял, что его привезли не к парадному входу, а чёрным ходом – как вещь, которую не принято показывать.

Его провели через низкую дверь в длинный коридор со стрельчатым сводом. Стены здесь были покрыты тёмной краской, кое-где облупившейся. Горели только два масляных светильника на железных кронштейнах – света хватало ровно на то, чтобы не споткнуться о ступеньку. Воздух спёртый, тяжёлый, пахло воском, чернилами и ещё чем-то кислым – как в помещении, где месяцами не проветривали.

– Канцелярия паракимомена, – шепнул один из стражников второму, но Сотирих услышал.

Но дальше все переменялось. Два поворота коридора – и Сотириха втокнули в огромную приемную.

Приёмная поразила Сотириха контрастом. Вместо сырого коридора – просторная комната с мраморным полом – холодным, но чистым, высоким резным потолком и тремя узкими окнами из настоящего стекла. Такие стекла были настоящей редкостью – редкостью даже для царского дворца. На подоконниках стояли глиняные горшки с какими-то низкорослыми ароматными травами, чтобы перебить запах города.

Вдоль стен – деревянные скамьи, покрытые тёмно-синими войлоками. На одной из них, вытянув ноги, сидел пожилой священник с усталым лицом и листал свиток. Монах? Или тайный советник? Сотирих не понял. Священник даже не поднял головы – привык к таким визитёрам.

Посреди комнаты стоял дьякон в простой чёрной рясе, молодой, с живыми глазами и тонкими длинными пальцами, перепачканными чернилами.

– Ты Сотирих Хониат, бывший таксиарх? – спросил дьякон без тени презрения, скорее профессионально-нейтрально. – Паракимомен примет тебя через час. Пока будешь ждать, ты ничего не будешь пить и есть. Тебе нельзя отвлекаться.

– Мне... – начал Сотирих, но дьякон перебил:

– Тебе сейчас предстоит говорить правду. Если ты хоть раз солжёшь, тебя отправят не в долговую тюрьму, а в «келлу» при канцелярии – там не бьют тростью. Там выбивают зубы и калёным железом прижигают пятки, чтобы ты вспомнил всё, что забыл. – Дьякон улыбнулся, но глаза у него остались адски холодными. – Жди.

Он вышел, оставив Сотириха одного со священником. Тот так и не поднял головы.

Час ожидания тянулся медленно. Сотирих пытался продумать каждое слово, но мысли путались. Гулко стучало сердце. «Я не вру, – твердил он себе, – Палеолог действительно колдун. Я просто вспомнил то, что раньше не понимал». Он повторял это так часто, что в какой-то момент сам почти поверил в собственную ложь.

Наконец дьякон вернулся, махнул рукой:

– Иди. И ничего не трогай. Иначе руку отсекут!

Он провёл Сотириха в кабинет паракимомена.

Это была небольшая, почти квадратная комната с низким сводчатым потолком, из-за чего казалось, что потолок давит на плечи. Пахло здесь сложно: воском от свечей в бронзовом подсвечнике, старым пергаментом и чем-то горьковатым – то ли полынь, то ли лавр, которые жгли в жаровне для отпугивания злых духов. Сама жаровня стояла в углу, в виде медного льва с открытой пастью – из неё поднимался тонкий сизый дымок.

Стены от пола до середины были обшиты тёмным деревом с резными коптскими крестами – ведь сам паракимомен был родом из Египта, из знатного рода с греческими корнями. Выше дерева – гладкая штукатурка, выбеленная мелом, без единого изображения. Ни икон, ни мозаик. Только напротив входа висело небольшое распятие из слоновой кости, тонкой работы, с едва заметными каплями крови на рёбрах Христа.

В центре комнаты стоял массивный стол из тёмного дуба на львиных лапах. На столе – стопка свитков в кожаных тубусах, масляная лампа под зелёным абажуром (свет приглушённый, как в келье), чернильница с сандаловым деревом и три писчих пера из крыльев вороны – чёрные, жёсткие. Никаких украшений.

Сам Евсевий Схоластик сидел за столом не в кресле, а на простом дубовом табурете, поджав под себя ногу – так, что край тёмной мантии касался пола. Это был мужчина лет пятидесяти, сухой, с длинными седыми волосами, зачёсанными назад и стянутыми узким ремешком на затылке. Лицо – аскетичное, с острыми скулами, глубокими морщинами от носа к углам губ и тёмными, почти чёрными глазами без блеска. Глаза не моргали. Они смотрели на Сотириха так, будто видели его насквозь – сквозь грязь, ссадины, рваные лохмотья, сквозь его страх и наглую самоуверенность.

На стене за спиной паракимомена, на отдельном крюке, висел меч – не парадный, а самый настоящий, с потёртым эфесом и едва заметными зазубринами на лезвии. Напоминание: этот чиновник не просто перебирает бумаги.

– Подойди, – сказал Евсевий тихо. Голос оказался низким, грудным, без придворного жеманства – настоящий голос человека, который привык приказывать, а не просить.

Сотирих сделал два шага и остановился.

– Ближе, – не повышая тона, добавил паракимомен. – Я не кусаюсь.

Сотирих подошёл вплотную к столу. Теперь он ясно видел кожу на пальцах Евсевия – сухую, с тёмными пятнами, как у старых монахов. На указательном пальце правой руки – серебряное кольцо с печаткой, на которой вырезана хризма – монограмма Христа. И никаких других украшений.

– Смотри мне в глаза, – велел паракимомен. – И не отводи взгляд, пока я говорю. Ты обвиняешь Михаила Палеолога в колдовстве. Это тяжкое преступление. За ложный донос полагается смертная казнь. Ты это знаешь?

– Знаю, – ответил Сотирих, стараясь, чтобы голос не дрожал.

– Тогда говори. С самого начала. Не торопись. Не добавляй лишнего. Но и ничего не утаивай. – По его лицу пробежала тень усмешки: – Я сразу пойму, если ты солжёшь.

Он откинулся на табурете, сложил руки на груди и замер – как статуя, как судья из древней трагедии. Лампа под зелёным абажуром отбрасывала тени на его лицо, делая его похожим на лик с плохой иконы – слишком строгим, почти нечеловеческим.

Сотирих сглотнул. Он вдруг понял, что все его приготовленные речи, все драматические паузы и эффектные жесты – ничто перед этим человеком. Но отступить было некуда.

– Владыка, – начал он хрипло, – я расскажу всё, как было. В Конийском султанате...

И он заговорил – осторожно, но настойчиво, вплетая правду в ложь, а ложь в правду, как учила его жизнь вора и предателя.

А Евсевий Схоластик слушал. Не перебивал. Не задавал вопросов. Только изредка шевелил пальцами – как будто перебирал невидимые чётки. Или сжимал невидимое горло.

Час был поздний. В узкие окна давно заглянула ночь. И в этой тёмной комнате, где пахло полыньёю и древними обвинениями, решалась судьба не только Сотириха Хониата – но и человека, которому через несколько лет, возможно, предстояло стать императором.

Или погибнуть раньше – так и не став им.

– Спросите любого, кто был с ним в том походе: почему татары бежали под Юльбенисом, когда до этого они не бежали никогда? Я видел его лицо в тот вечер – на нём была не людская усмешка, а звериная. И потом, когда я лежал в тени, без сил он нестерпимой жары, то видел – он сам поил коня не водой, а настоем на корнях, которые дала та ведьма с ночного торжища в Филадельфии. Я молчал, потому что боялся, но теперь, когда меня бьют тростью за долги, какой мне страх? Пусть Бог рассудит.

Паракимомен Евсевий Схоластик моргнул.

– Не поминай Господа всеу, – тихо предупредил он. – Дальше.

Хониат пытался понять, произвел ли его рассказ должное впечатление на паракимомена – но понять это было невозможно, Евсевий Схоластик давно научился делать свое лицо настолько непроницаемым, что на нем не читалось никаких мыслей, никаких чувств. «Словно закопченная поверхность глиняного горшка, который сто лет стоял в печи и который никто не чистил», – с неудовольствием подумал Хониат, и продолжал:

– Один раз после штурма небольшой крепости Палеолог приказал отложить в сторону всех убитых младенцев мужского пола. Не мужчин – а именно младенцев. – Сотирих пожал плечами: – Ну, наше солдатское дело – выполнять приказы, мы и отложили их, не спрашивая. А он потом долго бродил среди этих тел, вглядывался им в лица – выбирал нужного ему покойника. И выбрал в итоге одного младенчика – ладно скроенного, с серыми глазами. А на следующий день Палеолог перед самым сражением приложил свой меч ко лбу этого убитого младенца, чтобы сделать клинок неотразимым. И именно поэтому все воины под началом Палеолога чувствовали странную покорность, будто их воля подавлена. И нас ведет вперед Палеолог – и его заколдованный клинок.

– Дальше, – без паузы потребовал паракимомен. – Или это – все?

Сотирих подался вперед.

– Хорошо, что я оказался здесь, в вашем кабинете. Потому что только тут я чувствую безопасность и могу поведать самое важное. – Он на мгновение умолк – но на паракимомена это не произвело ровным счетом никакого впечатления. Сотириху пришлось продолжать:

– У одного сирийского ремесленника Михаил Палеолог заказал некую восковую фигурку. Ремесленник принес ее ему прямо в султанский дворец – так, чтобы никто не увидел. А Палеолог назвал её именем «Феодор Ласкарис» и каждую пятницу протыкал иглой в области печени. Когда из Никеи в султанат пришли вести о том, что василевс... нездоров, Палеолог проронил что-то вроде: «Метод работает». – Сотирих пожал плечами: – Возможно, я передаю его слова не совсем точно – но смысл был такой.

– Как ты мог увидеть эту фигурку, если сам же говоришь, что было сделано все, дабы никто на свете не мог ее увидеть? – отрывисто осведомился паракимомен.

– Очень просто. У Палеолога как-то сломалась игла – а дело было в пятницу, он явно не мог откладывать магическую церемонию. Вот он и стал искать иглу – достаньте, мол, да побыстрее! А подходящая длинная и острая игла нашлась как раз у меня.

– Ну еще бы, – осклабился паракимомен, – ты же умеешь таскать чужое имущество. – Он смерил Сотириха взглядом: – И где же эта восковая фигурка? Очевидно, Палеолог привез ее с собой в Никею?

– Я не знаю... Столько лет прошло. Надо сделать у него дома обыск – скорее всего, она где-то спрятана.

– В том-то и дело, – проронил паракимомен, – у него уже делали обыск. Искали любые предметы, связанные с колдовством. Но никакой восковой фигурки не нашли.

– Возможно, он и уничтожил ее... из страха разоблачения. Он же знал, что по крайней мере, я знаю об этой фигурке!

Паракимомен холодно посмотрел на него:

– Да, но если передавать священной особе василевса донос о том, что Михаил Палеолог использовал для колдовства против него восковую фигурку сирийской работы, то по правилам необходимо приложить и саму фигурку. А раз фигурки нет, и ты не знаешь, где она, то – по тем же правилам – необходимо абсолютно точно удостоверить правдивость твоих слов о том, что фигурка все-таки была.

– Я сказал все, что знал о ней! – почти выкрикнул Сотирих.

– Слова, которые произносит рот человеческий, должно подтвердить железо. Таковы старые правила, – равнодушно проронил паракимомен. – Сейчас тебя отведут в подвал – в «келлу», пыточную камеру. Там палач трижды приложит к твоему телу брусек раскаленного железа. Если на тебе не будет после этого ожогов – значит, ты рассказал правду. Если же нет... – Паракимомен развел руками: – Не обессудь – ты сам пришел в императорскую канцелярию. И о лжесвидетельстве тебя предупредили при входе. Ты сказал, что все понял, и будешь говорить правду, и только правду.

Евсевий Схоластик взял небольшой бронзовый колокольчик, лежавший с краю стола, и позвонил. Позвонил негромко – но звук этот показался Сотириху оглушительным похоронным звоном.

В кабинет паракимомена вошли двое стражников с пустыми, ничего не выражавшими глазами. Они были одеты в длинные черные хламиды – одинаковые и безликие, без каких-либо эмблем или знаков отличия, даже лица скрывали низко надвинутые капюшоны – слуги пыточного подвала, которые никогда не появлялись на свету.

– Заберите его, – распорядился Евсевий, уже не глядя на Сотириха, а перебирая свитки на столе. – В «келлу» третьего разряда. Палач Фока сегодня на месте?

– На месте, владыка, – ответил один из стражников глухим голосом.

– Передайте: испытание железом, трехкратное прикосновение. Достаточно для проверки.

– Паракимомен помолчал и добавил как бы между прочим: – Если сознается до пробы – записать показания повторно и доложить мне.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.